АЛЕКСАНДР ОДОЕВСКИЙ



Владимир Ягунин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



А. Одоевскій

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 15

(608)

Владимир Ягунин

АЛЕКСАНДР ОДОЕВСКИЙ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»,
1980

83.3Р1
Я31

Я $\frac{70302-185}{078(02)-80}$ Без объявл. 4702010200

© Издательство «Молодая гвардия». 1980 г.

«В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма...»[1]

Через много лет их — первых революционеров России — назовут декабристами.

Они решились выступить, хоть многие из них предполагали неудачу. Но Россию необходимо было разбудить. Необходимо было поднять голос против самодержавия, против крепостного права, за свободу и просвещение народа.

«Тайное общество наше отнюдь не было крамольным, но политическим, — заявил следственной комиссии один из них — Гавриил Батеньков. — Оно, выключая разве немногих, состояло из людей, коими Россия всегда будет гордиться... Цель покушения *не была ничтожна, ибо она* клонилась к тому, чтоб, *ежели* не оспаривать, то, по крайней мере, привести в борение права народа и права самодержавия; ежели не иметь успеха, то, по крайней мере, оставить историческое воспоминание. Никто из членов не имел своекорыстных видов. Покушение 14 декабря не мятеж... но первый в России опыт революции политической... Чем менее была горсть людей, его предпринявших, тем славнее для них, ибо, хотя по несоразмерности сил и по недостатку лиц, готовых для подобных дел, глас свободы раздавался не долее нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался».

«Глас свободы» раздался и был услышан Россией.

«Пушки на Исаакиевской площади разбудили целое поколение», — пророчески объявил А. И. Герцен, представлявший это новое поколение.

Основав вместе с Н. П. Огаревым Вольную русскую типографию, он на обложке «Полярной звезды» поместил профили пяти казненных декабристов.

Он подхватил выпавшее из их рук знамя.

«Нашими устами, — писал великий демократ, — говорит Русь

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 315.

мучеников, Русь рудников, Сибири и казематов, Русь Пестеля и Муравьева, Рылеева и Бестужева».

Владимир Ильич Ленин разделил русское революционное движение на три периода

«...мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции, — писал он в статье «Памяти Герцена». — Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс» [1].

И движение это нарастало в России. Его возглавила самая революционная партия — партия рабочего класса. Движение масс совершило социалистическую революцию в 1917 году.

Не случайно самая революционная партия России взяла эпиграфом своей первой газеты — ленинской «Искры» — строку из стихотворения Александра Одоевского («Ответ декабристов Пушкину»), отразившего настроение борцов, разбитых, но несломленных, — «...Из искры возгорится пламя».

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Юноша с свежей душой выступает на поприще жизни,
Полный пылающих дум, дерзостный в гордых мечтах;
С миром бороться готов и сразить и судьбу и печали!..

В. К. Кюхельбекер

1

Девятого октября 1820 года в три с половиной часа пополуночи княгиня Прасковья Александровна Одоевская, урожденная княжна Одоевская, скончалась.

— Саша! — тихо спросила она перед смертью. — Не дождь ли в городе? Отчего лицо твое мокро?

— Плохо, маменька! Пасмурно...

— Что Иван Сергеевич?

— Он в гостиной. Позвать?

— Не надо, сынок. Ах, вот и он!

Старый князь Одоевский, войдя в спальню, бессильно прислонился затылком к двери. Он плакал...

— Святой отец приехал, — через некоторое время произнес он.

Желтое похудевшее лицо Прасковьи Александровны дрогнуло.

— Господь с вами, милые!.. — с трудом прошептала она. — Не надо слез. Ах, Саша! — Скрестив на груди тонкие руки, она взглянула на сына и мужа полными уходящей боли глазами и, вздохнув, заснула вечным сном.

— Матушка!..

Ноги у Александра подкосились, он опустился перед покойницей на колени.

— Господи, прими душу рабы божьей!.. — запел появившийся в дверях седой благообразный священник.

— Покинула нас, покинула! — глухо пробормотал старый князь и, всхлипнув, слепо пошел через гостиную в кабинет, тяжело скрипя половицами, вытирая рукавом черного сюртука покрасневшие, слезящиеся глаза.

Черный день этот запомнился Александру Одоевскому на всю жизнь. На всю его короткую жизнь...

...Ночью над Петербургом плыла полная луна.

Маслянисто блестела, подрагивая на низовом ветру, стынущая Нева. На бастионах Петропавловской крепости глухо и простуженно перекликались часовые.

В большом опустевшем доме горела желтая свеча. Сидевший за столом высокий юноша, разбитый несчастьем и соболезнованиями родных, лихорадочно наносил на чистом листе бумаги летучие женские силуэты. Стройная фигура... тонкий овал лица... большие грустные глаза... Бедная!

— Саша, ты не спишь?

— Нет, отец.

Иван Сергеевич посмотрел на осунувшееся лицо сына и покачал головой. Давно ли появился в его семье этот красивый большеглазый мальчик? Давно ль с волнением услышал он его голос? Увидел измученное, но счастливое лицо жены — женщины, любившей его болезненно и безмерно?..

На счастье жизнь дана нам или на горе? Как перенесть тяжелые удары судьбы? Как вырастить сына достойным славного отечества? Сына, казалось, вчера возвестившего о своем появлении на этом свете первым нетерпеливым криком.

— Милостивый государь, князь Иван Сергеевич! Позвольте поздравить вас!..

— С сыном Александром? — не веря, воскликнул он.

— С первенцем, ваше превосходительство!

— Никита! Шампанского! Нет-нет, не отговаривайтесь, доктор! Вы непременно пообедаете с нами. А как княгиня?

— Слаба еще, но чувствует себя удовлетворительно.

— Виват князю Александру Ивановичу!..

Случилось это в 1802 году, месяца ноября 26-го числа, в доме № 40 на Петербургской стороне нашей Северной Пальмиры.

— Князь Александр! Где вы?

А он бежит по мокрой траве, счастливый, что отделался от ласковых рук матушки и назойливых нянек, бежит к Нерли, над прозрачной водой которой растерянно повисло утреннее солнце.

Что там, за камышом?.. Плывут ли по волнам большие рыбы?.. Шуршит и катится ли по дну торопливая галька?.. А за ржаным полем на том берегу?.. Уходят в небо темные сосновые боры, лежит между холмами большое село, сияют золотом купола церквей...

Мир так велик, от него кружится голова, немеет сердце.

— Князь Александр! Сашенька!..

Куда же спрятаться от приближающихся голосов?

Кусты колючи, берег крут, вода черна и холодна... Нырнуть в такую — и не выплыть. Ох, страшно! Придется вылезти и сдаться.

— Ах, боже мой, сынок! — прижав его к своим коленям, испуганно бормочет княгиня. — Разве так можно! Здесь очень глубоко. Почему ты улыбаешься? Пойдем домой.

Тропинка огибает взгорок, выходя к барской усадьбе.

— Вот и наш князек! — радостно восклицает старая нянька. — Чай, не заблудится в родных местах.

Осекшись под строгим взглядом Прасковьи Александровны, она всплескивает руками и спешит в высокий деревянный дом.

У резных ворот сына с матерью встречает гувернер в старомодном сюртуке с длинными фалдами.

— Ох уж это молодое поколение! — сокрушенно вздыхает он и, слегка взбрыкивая в разные стороны тонкими ногами, обутыми в лаковые туфли с медными пряжками, направляется в свою комнату дочитывать очередной французский роман.

Виновник же всех треволнений останавливается на широком крыльце и, обернувшись, взглядом окидывает родное село Николаевское: низкие крестьянские дворы, высокую липу на косогоре, голубые пруды, блестевшие за плетнями, и вновь рождается в его сердце восторг.

— Вот приедет Иван Сергеевич,—укоризненно шепчет сыну княгиня, пытаясь затащить его в дом. — он не спустит твоего своевольства. Князь у нас очень строгий, генерал...

— Вот и не строгий, — отвечает Саша. — Папа даст

мне потрогать блестящие ордена, посадит на коня, и... поскачем мы с ним в поле. Наперегонки с ветром!..

Он мечтательно щурит глаза, но тут же открывает их. Втягивает носом воздух и, учуяв доносящийся из кухни ароматный запах жареных пирогов, стремглав врывается в дом.

— Ах, пострел! — отпрянув от неожиданности, восклицает Прасковья Александровна и крестит закрывшуюся дверь. — Да сбережет тебя господь! Да ниспошлет вечную благодать!..

И торопливо идет вслед.

Дом затихает.

Лишь гувернер рыдает в своей комнате над очередным романом, нюхает табак, пуховочкой пудрит покрасневшие веки и смотрит в широко распахнутое окно.

Над полем летит торопливое облачко...

Может быть, из Франции, из родных мест?..

Может быть... Но что там? Как там?

Судя по газетам, ничего хорошего...

25 июня 1807 года в небольшом местечке Тильзит российский император Александр I заключил с императором французов Наполеоном «оборонительный и наступательный союз».

Союз этот разорвал отношения России с Англией, находившейся в континентальной блокаде Французы ликовали. Придворные льстецы пели Александру дифирамбы. Однако мир этот стал для России одним из самых бесславных.

2

«Родители дали мне воспитание, приличное дворянину русскому, устраняя как либеральные, так вообще и всякие противные нравственности сочинения».

(Из показаний А. И. Одоевского на следствии)

В Петербурге его окружил целый штат гувернеров и учителей. Мир юного князя ограничился размерами отцовского дома: с толстыми стенами, неширокими окнами, просторными комнатами и тяжелыми замками на дубовых дверях.

Прасковья Александровна души не чаяла в единственном сыне. Иван Сергеевич, обожавший его, скоро сов-

сын уволился со службы, чтобы все время и силы отдать ему.

— Александр, никогда не забывай о своем происхождении. Ты Рюрикович! Предки твои — удельные князья Черниговские.

Особое предпочтение в доме Одоевских отдавалось словесным наукам и французскому языку.

— Развивайте, Саша, свои способности, — не раз говаривал ему непременный секретарь Российской академии наук Петр Иванович Соколов. — Не должно дворянину забывать о родной словесности.

Соколов преподавал маленькому князю русский язык и литературу. Составитель «Грамматики», он особо увлекался переводами древних авторов.

— Вы только послушайте, что пишет Тит Ливий о взятии Рима галлами!..

Учитель истории и статистики Константин Иванович Арсеньев снисходительно усмехался, слушая подобные речи. Был он молод, решителен и суждения пятидесятилетнего Соколова почитал давно отжившими.

— Крепостное право — вот главный вопрос, который предстоит решить России!

Правда, во взгляды свои он не посвящал ни Ивана Сергеевича, чьего крутого нрава слегка побаивался, ни его супругу. Но наедине с малолетним Александром он не таил своих мыслей.

— Готовлю, Саша, большой труд по статистике нашего государства. Ему отдаю все силы свои и все свободное время, — сообщал он.

Регулярно дом Одоевских посещал библиотекарь и секретарь канцлера, князя Куракина, Жан-Мари Шопен, обучавший Одоевского французскому языку. Небольшого роста, сухощавый и желчный, он в своем отношении к крепостному праву сходился взглядами с Константином Арсеньевым.

— Деспотизм и рабство, мой дорогой друг, давя на русскую жизнь, давят и на литературу, которая только в последнее время начинает приспособляться к духу французской литературы и ее гуманных идей.

— О словесности не берусь судить, а в отношении рабства совершенно с вами согласен, — отвечал Арсеньев. — Лишь полная свобода личности — залог процветания общества, как экономического, так и социального.

Маленький Александр с живейшим любопытством вни-

мал этим разговорам. Знал бы старый князь, чему учили его сына иные из преподавателей!..

Влияние Шопена и французской литературы на Одоевского было очень велико. Жан-Жак Руссо, автор «Эмиля», наряду с Монтескье стал его любимым писателем. Вольтера же он с отроческих лет знал наизусть.

Иван Сергеевич справедливо полагал, что Александру не помешает и приличное знание других европейских языков: английского и немецкого... Байрон восторгал юного князя, Шекспир поражал драматизмом и глубиной, Шиллер привлекал своим возвышенным героизмом и страстями...

Из отечественных писателей Александр изучал Кантемира и Ломоносова, Сумарокова и Хераскова, Капниста и Державина... Изучал по-юношески горячо и пристрастно: вычурному тяжелому слогу прошлого столетия он внутренне предпочитал легкость Карамзина и Батюшкова.

Тем временем российская литература уже рождала новые имена пылких романтиков. Но этого юный князь еще не ведал.

Однако воспитание Одоевского не ограничивалось словесными науками. В общий курс математики вводил его Тенегин, фортификацией занимался с князем Фарафонтов, отрывки из своего «Училища благочестия» читал известный священник-педагог Мансветов...

Иногда камердинер брал Александра за руку и с благословения матушки отводил его на Екатерининский канал, в дом католической церкви, где по подписке за 125 рублей читал популярные лекции модный в Петербурге императорский физико-механик Антон Роспини.

Лекционный зал был очень красив, внимание Александра постоянно привлекал огромный деревянный стол, заставленный различными колбами и диковинными инструментами.

Роспини читал громко, закатывая глаза и эффектно размахивая длинными руками.

Боясь за сына, болезненно любя его, стремясь по-своему образовать детский характер, Прасковья Александровна не допускала его столкновения с несправедливостями и теневыми сторонами тогдашней России. Выбраться из духовного затворничества помогали Александру учителя и собственное любопытство.

Княгиня присутствовала на многих занятиях сына. Белюстину, вечно всклокоченному преподавателю латыни губернской гимназии, автору многочисленных учебников, она почему-то не очень доверяла.

А профессор Педагогического института Попов, торжественно и заунывно читавший в подлиннике «Одиссею» и «Илиаду» Гомера, несмотря на свою крайнюю молодость, ей нравился глубокомысленными речами и опрятностью.

— Дмитрий Прокофьевич! А вы не пробовали перевести эти поэмы на отечественный язык?

— Давненько намереваюсь заняться этим, ваше сиятельство, но, — разводил руками Попов, — пока ограничен во времени и средствах, хоть мысли сей и не оставляю. Быть может, наш юный князь, отлично преуспевший в древних языках, окажет мне в том содействие?

Взоры взрослых обращались на Александра.

Он краснел и начинал ерзать на диване.

Прасковья Александровна ласково улыбалась.

Началась Отечественная война. Иван Сергеевич Одоевский вновь надел запылившийся мундир. Он стал шефом Московского ополчения и командиром 2-го казачьего полка.

Воодушевление охватило и Александра. Он многократно перечитывал ставшую особо известной в последнее время «Победную песнь героям» Кондратия Рылеева... «Возвысьте гласы свои, барды. Воспойте неимоверную храбрость воев русских!.. да живут герои в песнях ваших... Да, вспоминая о доблестях предков своих, потомки наши возгорят жаром великим любви к отечеству; и да всегда разят врагов имени российского...»

— Успеешь, сын, навоюешься, хоть лучше, конечно, без того обойтись! — сказал отец, уезжая.

Приняв участие в освободительных походах, повидав Европу, он вернулся домой и уже навсегда расстался с порыжевшим от солнца и пороха мундиром.

Несмотря на свою боевую молодость, Иван Сергеевич не был особо склонен к военной службе. И потому не приуготовлял к ней сына. Впрочем, на досуге он любил вспоминать свою юность, знаменитых полководцев, с коими близко знаком был, походы, в которых участвовал...

Будучи внуком президента Вотчинной коллегии Ивана Васильевича Одоевского, он служил в молодости адъютантом светлейшего князя Потемкина-Таврического, воевал в Турции и Польше. Получив сравнительно небольшой чин

генерал-майора, женился по любви на своей кузине Прасковье, принесшей ему в приданое большое поместье в Ярославской губернии и тысячу крепостных душ.

Единственному сыну они отдали всю сердечную теплоту и любовь.

Одиннадцатого февраля 1815 года Сашу Одоевского по обычаю старинных дворянских семей записали на тринадцатом году на гражданскую службу — канцеляристом в Кабинет его величества, где он, ничего не делая, начал потихоньку получать очередные чины... С учителями он занимался по-прежнему.

Летом ездил с отцом в Николаевское. По дороге задерживались в небольшом селе Сущеве, от которого до родных мест было не более сотни верст. Село это принадлежало отставному секунд-майору Ивану Никифоровичу Грибоедову, родственнику Одоевских. В старом барском доме они нередко останавливались на ночлег.

Здесь молодой князь познакомился со своим кузеном Александром Грибоедовым, остроумным, слегка скептичным юношей, полным столичных новостей и литературных интересов.

— Каково служится, тезка? — смеясь, спрашивал он подростка. — До генеральских чинов много ли осталось?

Одоевский смущался.

— А поэзией ты случайно не увлечен? Я угадал, да? И конечно, сочиняешь? Ну-ка прочти...

Прослушав с трудом выдавленные раскрасневшимся отроком строки, Грибоедов доброжелательно качал головой.

— Мне кажется, изрядно! Толково и с чувством... Прочему научит жизнь.

— Ты совсем замучаешь сына, Александр! — вмешивался в разговор Иван Сергеевич. — Он у меня как барышня, чуть что — краской заливается.

— Со временем возмужает!

После злополучной дуэли Шереметева с графом Завадовским, Грибоедова, бывшего на ней секундантом, отправили с русской миссией в Персию.

Одоевский долго помнил о своем двоюродном брате, одобрившем его первые поэтические опыты. Надеялся на новые с ним встречи, с нетерпением ждал их...

В последнее время он основательно сдружился с французом Шопеном и профессором Педагогического института Арсеньевым, чья недавно вышедшая книга «Начертание

статистики Российского государства» подверглась жестокому гонению.

— Константин Иванович! За что ругают вашу книгу?

— За либеральные идеи, мой юный друг.

— А все же?

— Понимаешь, Александр! Я считаю крепостное право тормозом всему: промышленности, земледелию... Только свобода всех граждан — залог процветания общества. Да можешь сам прочитать об этом в моей книге.

— Но где я...

— Возьми мой экземпляр. Только об одном прошу: матери и особливо Ивану Сергеевичу не показывать.

Вечером, закрывшись в своей комнате, он полистал страницы книги и наткнулся на такие слова:

«...Крепостность земледельцев есть также великая преграда для улучшения состояния земледелия. Человек, не уверенный в полном возмездии за труд свой, в половину не произведет того, что в состоянии сделать человек, свободный от вечных уз принуждения». «Верно», — отметил Александр карандашом на полях страницы и снова углубился в чтение. «Доказано, что земля, возделанная вольными крестьянами, дает обильнейшие плоды, нежели земля одинакового качества, обработанная крепостными. Истина непреложная, утвержденная опытами многих веков протекших, что свобода промышленника и промыслов есть самое верное ручательство в приумножении богатства частного и общественного, и что для поощрения к большей деятельности и к большему произведению нет лучшего, надежнейшего средства, как совершенная, не ограниченная никем, гражданская личная свобода, единый истинный источник величия и совершенства всех родов промышленности...»

Допоздна просидел за «Начертанием статистики Российского государства» Александр. Она открыла ему глаза на многое. И Шонен говорил ему о том же. И любимый Жан-Жак всегда проповедовал равенство... А что он видит хотя б в своем Николаевском? Нищету и забитость крестьян? Их постоянную зависимость от отца?.. Иван Сергеевич же слишком строг, порой даже жесток с ними. Сколько раз наказывали безвинных на конюшне! Как можно требовать потом от них любви и покорности? Голодный сытого не поймет...

Множество тревожных мыслей бродило в голове молодого князя.

Поздно ночью скрипнула дверь.

На пороге комнаты стояла Прасковья Александровна. Последнее время она плохо чувствовала себя, похудела и была бледна.

— Можно ли так утомляться? — укоризненно произнесла она.

— Тушу свечу, маменька! — виновато ответил он.

— Что ты читаешь?

— Да так... — Он замялся, покраснел оттого, что вынужден лгать. — Французский роман.

— Ох, Саша, чует сердце, опять Руссо, Вольтер на уме у тебя! Или отечественные вольнодумцы. Чему тебе учиться у них? Развратным мыслям? Ложным понятиям о чести?..

Вздохнув, Прасковья Александровна благословила сына и вышла.

Одоевский разделся, потушил свечу и разостлал постель. Никите с некоторых пор он запретил ухаживать за собой. Чай, не маленький! А потом стыдно...

Ночью к окну его подошла луна и заглянула в комнату, облив ее слабым голубым светом, и долго не уходила.

Александр уснул. Луна осторожно сдвинулась с места и поплыла над Петербургом, заглядывая в другие окна...

4

«Бог людей свободных, боже сильный! Я долго в своих молитвах взывал к царю, твоему представителю на земле... Царь не услышал моей мольбы... ведь так шумно вокруг его престола!

Если правду говорят священники, что и раб — творение твое, то не осуждай его, не выслушав, как то делают бояре и прислужники боярские.

Я орошал землю пóтом своим, но ничто производимое землей не принадлежит рабу. А между тем наши господа считают нас по дýшам; они должны были бы считать только наши руки.

Моя суженая была красива — они отправили ее в Москву к нашему молодому барину. Тогда я сказал себе: есть бог для птицы, есть бог для растений, но нет бога для раба!

Прости меня, о боже, в милосердии твоем! Я хотел молиться тебе, и вот — я возроптал на тебя!»

— И это вы написали, мсье Александр? — спросил пораженный Шопен.

— Да, мсье! В один из приездов моих в Симу, к князю Борису Андреевичу Голицыну, я встретился с молодым крестьянином. Он рассказал мне свою несчастную историю. Я просил о нем, но было уже поздно: парня отдали в рекруты. К тому же старый князь настроен к нему самым решительным образом. Я назвал свое стихотворение, господин учитель, «Молитвой русского крестьянина», ибо и в имении отца сталкивался с жалкой участью этих подневольных. Государю же безразличны их мольбы...

— Это не молитва, а плач русского мужика над своей горькой судьбой. Но ты прав, мой юный республиканец, царь не услышит жалоб простых людей.

Похвала учителя, чьи взгляды Одоевский очень ценил, окрылила его. Секретарь князя А. Б. Куракина Жан-Мари Шопен был и сам не чужд литературных интересов: переводил Пушкина на французский, писал о русской словесности в «La Revue Indépendante»...

Шопен и не скрывал своего отрицательного отношения к крепостному праву. Через четверть века, будучи у себя на родине, он напечатает «Молитву...» своего ученика во французском прозаическом переводе. И этим отдаст дань уважения воспитаннику и ссыльному другу, погибшему в горах Кавказа.

Александр готовился к экзаменам. Через своего приятеля, сына ярославского помещика Дмитрия Васькова, служившего в Иностранной коллегии, он познакомился с Константином Сербиновичем, правой рукой министра просвещения и духовных дел князя Голицына.

Сын мелкого чиновника из Полоцка, Сербинович, окончив иезуитскую коллегию, приехал два года назад в Петербург, где сделал карьеру с помощью своего первого благодетеля — историографа Карамзина. Конечно же, тому способствовало прекрасное знание им латинского, греческого, польского языков, а также духовной католической литературы.

Князь Вяземский прозвал Сербиновича «чиновником, так сказать, по особым поручениям историческим» при Карамзине. Благодаря историографу молодой иезуит начал вращаться в избранном обществе Сперанского, Жуковского, братьев Тургеневых... Александр Тургенев скоро приблизил юношу к себе.

Сербинович был старше Одоевского пятью годами, од-

нако разницы в возрасте они не ощущали. Единственное, что смущало Александра, — крайняя осторожность в суждениях собеседника.

— Это у него от воспитания, — улыбался Васьков. — Но, не имея большой протекции, он трудолюбив. И боится нечаянного случая, могущего испортить все его начинания.

— Карьеру, что ли?

— Вероятнее всего. А что в том плохого?

Александр скептически улыбался.

Но дружба молодых людей продолжалась.

Ивану Сергеевичу новый Сашин товарищ нравился.

— Старателен и неглуп. Толк из юноши будет, — заметил он.

В последнее время старый князь находился в большой тревоге: с женой случилась странная хворь, она пожелтела, потеряла аппетит, таяла с каждым днем...

Александр советовался с докторами.

Те в недоумении разводили руками, хотя лекарства прописывали и как могли утешали отца с сыном.

Август в этом году выдался жарким.

Приехав из Николаевского, Александр зашел к Сербиновичу.

Сербинович заговорил о последней поэме Пушкина «Руслан и Людмила», о ее разборе Воейковым в «Сыне Отечества»...

— В ней множество прекрасных стихов! — взволнованно сказал Одоевский. — И вообще поэт скоро станет гордостью русской словесности!..

— Если не сгубят его излишние красоты, беспочвенный романтизм, — скромно потупив глаза, заметил Сербинович.

— Смотря как понимать его, Константин!

Сербинович промолчал.

До позднего вечера читали они Капниста, Пушкина. Во мнении относительно стихов посредственного поэта Бориса Федорова не сошлись. Одоевский их безбожно ругал. Сербинович, встречавшийся с этим писателем у Карамзиных и друживший с ним, защищал своего приятеля.

— Здесь ты, Александр, не прав!

Встречи их продолжались, но внезапное несчастье надолго выбило Александра из привычной колеи...

Ибо касалось оно самого близкого ему человека — княгини Прасковьи Александровны Одоевской.

Матери его...

Девятого октября 1820 года княгиня Одоевская скончалась.

Лицо ее в гробу было печально, на губах застыла слабая улыбка, словно в последний раз обращенная к любимым мужу и сыну.

Иван Сергеевич в тот день поседел. Александр не находил себе от горя места.

«Эта жестокая потеря унесла с собой лучшую часть моих чувств и мыслей. Я был сам столь же мало тверд на ногах, как человек, впервые испытавший в бурю грозное колыханье морей. Я был как шальной. Я грустен был, я был весел, как не бываю ни весел, ни грустен. Самая тонкая и лучшая струна лопнула в моем сердце...»

Отпевали и хоронили княгиню на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры...

Тебя уж нет, — но я тобою
  Еще дышу;
Туда, в лазурь, я за тобою
  Спешу, спешу!..
Когда же ласточкой взовьюся
  В тот лучший мир,
Растаю — и с тобой сольюся
  В один эфир...

Позже в ногах умершей поставили скромный гранитный памятник с надписью:

«Одоевская княгиня Прасковья Александровна генерал-майорша # 9 октября 1820, в 3½ ч. по полуночи, на 51 году ее праведной и примерной жизни. Здесь покоится драгоценный прах верного друга, добродетельнейшей супруги и нежной матери, коей сей памятник вечной привязанности поставили несчастный и удрученный горестью супруг и сын».

— Да святится имя твое!..

14 октября Сербинович *записал в своем дневнике:* «Иду к кн. Одоевскому... говорили о переводах, Гомере, о стихотворцах Державине, Ломоносове, Пушкине, Ламартине, о Шопене, о версификации...»

Круг литературных интересов молодых людей довольно широк.

А Петербург между тем взбудоражен восстанием в Семеновском полку. Солдаты не выдержали издевательств своего полкового командира Шварца. Он жестоко избивал их, заставлял маршировать босыми, выстроив в две шеренги, одну против другой, заставлял плевать друг другу в лицо. Первая гренадерская рота принесла жалобу на своего командира-притеснителя. Ее отправили в крепость. Одиннадцать других рот потребовали вернуть товарищей или арестовать их тоже.

Возмутившиеся солдаты пытались найти Шварца. Он спасся, спрятавшись в навозную кучу.

Великий князь Михаил Павлович требовал выдачи зачинщиков бунта, угрожая:

— Против вас идет конница и шесть пушек!

— Мы под Бородином и не шесть видели! — отвечали усатые гренадеры.

Одоевский потрясен, впервые он задумался над тяжкой участью русских солдат.

В столице только и говорили об этом событии...

Власти были перепуганы.

Император в это время находился в Троппау, на европейском конгрессе.

По Петербургу стали распространяться прокламации. Наконец весь Семеновский полк заключили в Петропавловскую крепость.

Стоявшие в крепостном карауле солдаты лейб-гвардии Московского полка обнимались с арестованными семеновцами, крича:

— Сегодня очередь вашего Шварца, а надо бы, чтоб завтра дошел черед и до нашего командира.

Их полковник Стюрлер будет убит на Сенатской площади через пять лет.

Вскоре пришел указ императора: офицеров и солдат — семеновцев разогнать по армейским полкам, находящимся в провинции; полковника Шварца судить... Однако он отделался легким испугом и «увольнением от службы без права вступить в нее».

Среди семеновских офицеров немало будущих деятелей Северного и Южного обществ: братья Муравьевы-Апостолы, Михаил Бестужев-Рюмин, Иван Якушкин... Власти еще пожалеют, что «начинили порохом» различные воинские части.

А пока толки о семеновской истории не стихают...

У Одоевского было немало знакомых среди гвардей-

ских офицеров. К тому же он и сам уже подумывал о военной службе, особенно после смерти матери.

В конце ноября произошло еще одно событие, всколыхнувшее Петербург. В десятой книжке «Невского зрителя» появилась сатира «К временщику» за подписью Рылеева. Свет безошибочно расшифровал ее как политический памфлет на графа Аракчеева.

> Тиран, вострепещи! родится может он —
> Иль Кассий, или Брут, иль враг царей
> Катон!
> О, как на лире я потщусь того
> прославить,
> Отечество мое кто от тебя избавит!..

Имя поэта стало знаменитым. Гибель его считали неминуемой. Но всесильный граф предпочел «не узнать» себя в этих гневных строках.

«Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластью!» — позже признается Николай Бестужев.

Александр, восхищенный смелостью поэта, завел о нем разговор с Сербиновичем. За окном шел первый ноябрьский снег. Иван Сергеевич, приехавший из своего имения, неодобрительно покачивал головой.

— Не одобряю сию безумную поэтическую выходку, — сказал он. — Накликать на себя гнев властей — нехитрое дело.

— Сложней войти к ним в доверие, — поддакнул старому князю Сербинович.

— Но истинный поэт всегда быть должен гражданином! — запальчиво возражал Александр.

— Рано тебе, сын, судить об этом! — Иван Сергеевич нахмурил брови. Разговор ему явно не нравился. — В свое время и я не чурался либерализма, даже знавал человека, коего вольный, я бы сказал, богопротивный образ мыслей довел до Сибири. Тоже оды о вольности сочинял, клял царей, к бунту крестьян призывал...

— Вы не о Радищеве, батюшка? — невинным голосом спросил Александр.

— А ты о нем откуда знаешь? — поразился старый князь.

— Мир слухами полнится.

— Некоторые его сочинения ходят по рукам, — пробормотал Сербинович.

— Он не для ваших горячих голов, юноши! — настави-

тельно произнес Иван Сергеевич и встал, давая понять, что разговаривать далее не намерен.

А они проговорили допоздна: о пушкинской «Вольности», о матери Александра, о Карамзине и Александре Тургеневе. Немного поспорили.

5

Победно закончившаяся война с Наполеоном принесла славу России и русскому оружию. Александр стал самым популярным императором в Европе. От него ждали либеральных реформ.

Он лишь раскланивался...

В моду входил Аракчеев, опутавший страну военными поселениями. «Военные поселения будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось для этого уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова, — заявлял император и, скромно потупив глаза, добавлял: — Верный наш народ да получит мзду свою от бога!»

Губернии, разоренные наполеоновским нашествием, обнищали, другие опустошили дожди и засуха. Правительство решительных мер не предпринимало. Злоупотребления на местах усилились. Недоимки обедневших крестьян росли... Отчаявшиеся люди целыми селениями снимались с насиженных мест и бродили по России в поисках лучших земель. Передовые представители дворянства пытались помочь крестьянам. Будущие декабристы: И. Якушкин, М. Фонвизин, И. Бурцев, собрав деньги, спасли от голодной смерти тысячи людей.

Солдаты, принесшие славу русскому оружию, роптали на тяжелую службу, заполненную бессмысленной муштрой.

«Люди с дарованиями, — вспоминал декабристский писатель и критик Александр Бестужев, — жаловались, что им заграждают дорогу по службе, требуя лишь безмолвной покорности; ученые—на то, что им не дают учить, молодежь — на препятствия в учении. Словом, во всех углах виделись недовольные лица, на улицах пожимали плечами, везде шептались; все говорили: к чему это приведет? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над волканом; одни судебные места блаженствовали, ибо только для них Россия была обетованною землею. Лихоимство их взошло до неслыханной степени бесстыдства... В казне, в судах, в ко-

миссариатах, у губернаторов, у генерал-губернаторов, везде, где замешался интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал. Везде честные люди страдали, а ябедники и плуты радовались...»

Вспоминая о начале царствования Александра I, Бестужев писал, что оно было ознаменовано самыми блестящими надеждами для благосостояния России. «Но с 1817 г. все переменилось. Люди, видевшие худое или желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены стали разговаривать скрытно, и вот — начало тайных обществ... Уничтожение нормальных школ и гонение на просвещение заставило думать о безнадежности, о важнейших мерах».

А в письме к Н. А. Полевому, отмечая засилье немцев в государственном и военном аппарате России, он же писал, что «был горячим ненавистником немецкого космополитизма, убивающего всякое благородное чувство отечественности, народности...».

Рост оппозиции заметно пугал правительство Александра I. Политика «просвещенного абсолютизма» себя не оправдывала. Иллюзии, рожденные высочайшими заявлениями, лопались как мыльные пузыри.

Идейная и социальная атмосфера общества накалялась.

«Общее мнение в России, — жаловался императору попечитель Казанского учебного округа М. Магницкий, — взяло с некоторого времени направление против правительства. Порицать все, что правительство делает, осуждать и даже осмеивать лица, его составляющие, и предсказывать или давать предчувствовать под видом некоторой таинственности важные последствия отчаянного якобы положения вещей сделалось модою или родом обычая, от самого лучшего до самого низкого общества распространившегося, заразившего все состояния, все сословия, даже разные части правительства составляющие...»

В числе причин «вредного направления умов в России» Магницкий видит отголоски французской революции: «...все, чем прельщали нас Вольтеры, Руссо и Дидероты, то есть моральная и политическая свобода; народ чрез представителей своих в собственном законодательстве участвующий; представительные сословия народной власти, всем великолепием и древними изящными формами облеченные, все наперерыв уверяло нас, что мечты сих так называнных философов сбылись наяву...»

Выходивший в то время охранительный журнал «Друг юношества», должный возбуждать «омерзение, ненависть и презрение к проклятой нынешней философии», вызывал насмешки студентов, говоривших, что издание господина Невзорова годится только для стариков, а не для молодежи, а старикам-де нынче не век.

Молодежь безгранично верила в преобразующую силу просвещения. «...науки ученому делают честь, а просвещенный делает честь наукам», — писал в журнале «Благонамеренный» будущий декабрист Николай Бестужев. Противники просвещения заявляли, что «в науках много заблуждений».

«Не остановить в России революцию, — жаловался министр народного просвещения и духовных дел князь А. Н. Голицын известному мракобесу, архимандриту Фотию, — все уже в большой силе».

«К чему служило рвение мое остановить усилившуюся заразу? — признавался сменивший его на посту адмирал А. С. Шишков. — С одной стороны, бог, совесть и отечество требовали от меня, чтоб я по долгу звания моего сопротивлялся, сколько могу, безнравственному и пагубному вольнодумству или так называемому духу времени, но с другой — час от часу более усматривал я, что не могу иметь ни средств, ни возможности поставить преграду сему широко развившемуся и беспрепятственно текущему злу... Мудрено ли, что при таком расположении умов многие смотрели на меня как на человека странного, хотящего ладонью своей руки остановить быстрое течение потока!..»

«Брожение умов» было сильнее всех препон.

После разгрома декабрьского выступления арестованные члены тайных обществ показывали на следствии о причинах укоренения в них «свободного образа мыслей».

Н. Крюков сообщил, что он «не упускал и философических сочинений, так нужных для лучшего узнавания людей. Тут прочел я в разные времена Беккария, Траси, Гельвеция, Бентама, Кондильяка, Сея, Гольбаха...».

М. Фонвизин указал, что «свободный образ мыслей» почерпнул он благодаря «прилежному чтению Монтескье, Рейналя и Руссо».

«Любовь к вольности и народодержавию» поселили в П. Борисове Плутарх и Корнелий.

В показаниях декабристов фигурировали и имена известных русских профессоров: А. П. Куницына и К. И. Арсеньева, К. Ф. Германа и П. А. Сохацкого, А. И. Галича и Д. М. Велланского...

«Демократический образ правления имеет ту выгоду, — говорил Герман, — что каждый гражданин в полном смысле может сказать: я человек!» За подобные мысли правительство преследовало, однако остановить распространение вольнодумства оно было не в силах.

«Государи живут лета, а народы столетия! — многозначительно заметил Федор Глинка и тут же добавил, имея в виду отказ Александра от обещанных реформ: — Почему же не имеет всякой такого же права, заметив беспорядок в обществе, говорить прямо и гласно, что видит его, и указывать на причину оного?»

Действительно, почему?..

Глинка призывает к мужеству:

«...всякой делай свое дело и держись своего пути. Пусть царедворцы льстят, злые коварствуют, бездушные обманывают — это их нравственное ремесло, а ты добрый человек! Ты все делай добро, заслоняй собою несчастных от стрел рока и злобы, подавай руку упадающим и. есть ли ничего уже более не в силах сделать, то сострадай страждущим и молись за погибающих».

Тернистой была дорога будущих декабристов.

Они патриоты...

Надо отметить, что крепостное право являлось в то время уделом только русского человека. Как заметил Николай Тургенев, «каждый дворянин, кто бы он ни был по своей национальности, — англичанин, француз, немец, итальянец, так же как татарин, армянин, индеец, может иметь крепостных, при исключительном условии, чтобы они были русскими. Если бы какой-либо американец прибыл в Россию с негром-рабом, то, вступив на русскую почву, невольник станет свободным...». Таким образом, рабство являлось, по словам декабриста, привилегией лишь русских людей.

Вопрос о крепостном праве волновал лучшие умы передовой России.

«...П а т р и о т и з м, — писал В. Ф. Раевский, — сей светильник жизни гражданской, сия т а и н с т в е н н а я с и л а управляет мною. Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отчизны,

всеобщий ропот, боязнь и слезы слабых, бурное негодование и ожесточение сильных — не сострадать им?..»

Они подвержены и страху и сомнению...

Член Союза благоденствия Павел Колошин обратится к друзьям:

Друзья! вот стон души моей
Скорбящей, одинокой:
Мечта златая ранних дней
Еще от нас далеко!
Еще в тумане скрыта цель
Возлюбленных желаний!..

Но час пробьет: услышим
Отечества призванье!..

Время было стремительным. «Опасные» разговоры оставались разговорами. Необходимо было действовать...

9 февраля 1816 года возникло первое тайное общество — «Союз спасения», возникло после «сходки» у Муравьевых. Их поначалу было шесть человек.

— Крестьянская свобода и конституция! — провозглашали они.

Потом появился седьмой — Михаил Лунин.

«Я никем не был принят в число членов Тайного общества, но сам присоединился к оному, пользуясь общим ко мне доверием членов, тогда в малом числе состоящих».

О дне выступления и не говорили — он еще не проглядывался.

Но Лунин предложил приблизить его, убив Александра I на царскосельской дороге.

— Прежде нужна конституция! — возражал Пестель.

— Сначала енциклопедия, а уж потом революция! Право, это смешно, — иронизировал Лунин.

«Союз спасения» тем временем рос.

Требования к поступавшим были самые благородные и разумные: «1-е, строгое исполнение обязанностей по службе; 2-е, честное, благородное и безукоризненное поведение в частной жизни; 3-е, подкрепление словом всех мер и предположений государя к общему благу; 4-е, разглашение похвальных дел и осуждение злоупотребления лиц по их должностям...»

Время идет. «Союз спасения» реорганизуется, и к

1818 году возникает «Военное общество», как бы промежуточная, подготовительная организация к «Союзу благоденствия».

> Отечество наше страдает
> Под игом твоим, о Злодей!
> Коль нас деспотизм угнетает,
> То свергнем мы трон и царей.
> Свобода! Свобода!..

Так напишет гвардейский офицер Павел Катенин.

До Александра I доходят слухи о тайных обществах.

— Это несерьезно, ваше величество! — успокаивает императора его приближенный князь Петр Волконский.

Но над Александром витает тень убиенного отца.

— Ты ничего не понимаешь, — резко возражает он министру двора. — Эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении; к тому же они имеют огромные средства, в прошлом году во время неурожая в Смоленской губернии они кормили целые уезды...

В 1818 году в только что созданном новом обществе — «Союзе благоденствия» — было уже более двухсот человек.

В период «Союза благоденствия» (1818 — январь 1821 гг.) на вооружение брались идеи просветителей предыдущего века. После восстания Семеновского полка отвлеченные философские построения сменились во многих умах революционными программами, в основе которых лежал насильственный переворот.

Выступая в Варшаве, Александр заявил, что ждет, когда Россия будет готова к принятию законно свободных учреждений...

Почему бы самим не подготовить к этому отечество?..

Это пока считается не слишком большим грехом, даже в глазах правительства.

Чем же руководствовались члены «Союза благоденствия»?

«...Имея целью благо отечества, Союз не скрывает оной от благомыслящих сограждан, но, для избежания нареканий злобы и зависти, действия оного должны производиться в тайне...

Союз, стараясь во всех своих действиях соблюдать в полной строгости правила справедливости и добродетели, отнюдь не обнаруживает тех ран, к исцелению коих не-

медленно приступить не может, ибо не тщеславие или иное какое побуждение, но стремление к общему благоденствию им руководствует.

В цель Союза входят следующие четыре главные отрасли: 1-я — человеколюбие; 2-я — образование; 3-я — правосудие; 4-я — общественное хозяйство.

Качества принимаемых.

Союз благоденствия, имея целью общее благо, приглашает к себе всех, кои честною своею жизнью удостоились в обществе доброго имени и кои, чувствуя все величие цели Союза, готовы перенести все трудности, с стремлением к оной сопряженные.

Союз не взирает на различие состояний и сословий: все те из российских граждан, дворяне, духовные, купцы, мещане и вольные люди, кои соответствуют вышеозначенному, исповедуют христианскую веру и имеют не менее 18 лет от роду, приемлются в Союз благоденствия.

Примечание. Российскими гражданами Союз почитает тех, кои родились в России и говорят по-русски. Иноземцы же, оставившие свою родину, дабы служить чужому государству, сим самым уже заслуживают недоверчивость и потому не могут почитаться российскими гражданами. Достойными сего наименования Союз почитает только тех иноземцев, кои оказали важные услуги нашему отечеству и пламенно ему привержены.

Женский пол в Союз не принимается. Должно, однако ж, стараться нечувствительным образом склонять его к составлению человеколюбивых и вообще частных обществ, соответствующих цели Союза.

Кто известен был за бесчестного человека и совершенно не оправдался, тот не может быть принят в Союз благоденствия. Вообще все люди развращенные, порочные и низкими чувствами управляемые от участия в Союзе отстраняются».

Пушкин, не будучи членом союза, хорошо знал многих, входивших в союз, со многими дружил. Он вспомнит об этом времени.

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал

Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян...

Для чего они собирались? С чего хотели начать?..

«**Порицать:** 1) Аракчеева и Долгорукова, 2) военные поселения, 3) рабство и палки, 4) леность вельмож, 5) слепую доверенность к правителям канцелярий (Гетгун и Анненский), 6) жестокость и неосмотрительность уголовной палаты, 7) крайнюю небрежность полиции при первоначальных следствиях.

Желать: открытых судов и вольной цензуры.

Хвалить: ланкастерскую школу (систему взаимного обучения старшими младших, считавшуюся наиболее перспективной. — *В. Я.)* и заведение для бедных у Павильщикова».

Это лишь малая толика того, что должен был делать член «Союза благоденствия». Они выкупают на волю крепостного поэта Серебрякова, выпускают из сумасшедшего дома невинного человека, Иван Пущин уходит из гвардии и поступает в надворные судьи, где начинает бороться с беззаконием... В ланкастерских школах обучено несколько тысяч солдат, которым наглядно было преподано множество революционных уроков.

Пусть кому-то это покажется малостью.

«Нельзя же ничего не делать оттого, что нельзя сделать всего!» — ответит им Николай Тургенев.

Они пытаются воздействовать на общество через печать.

Вокруг «Истории Государства Российского» Карамзина не стихают споры. «История народа принадлежит царю», — утверждает придворный историограф. «История принадлежит народам», — поправляет его Никита Муравьев.

Будущих декабристов пока двести человек. Мало? Однако силу они представляли значительную: они делали общественное мнение.

«Пойди сюда, великий карбонари! — обратится к свое-

му бывшему адъютанту Михаилу Фонвизину прославленный генерал Ермолов. — Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он (царь. — *В. Я.*) вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся!»

Лунин приобретает за границей литографический станок. «...куплен был мною с той целью, чтобы литографировать разные уставы и сочинения тайного общества, — признается он на следствии, — и не иметь труда или опасности оные переписывать».

Что печатать? Конечно, устав союза — «Зеленую книгу».

Как довести свои идеи до народа?

В 1820 году Никита Муравьев напишет «Любопытный разговор», предназначенный для распространения в народе.

«*Вопрос:* Что есть Свобода?

Ответ: Жизнь по воле...

В. Все ли я свободен делать?

О. Ты свободен делать все то, что не вредно другому. Это твое право.

В. А если кто будет меня притеснять?

О. Это будет тебе насилие, противу коего ты имеешь право сопротивляться.

В. Стало быть, все люди должны быть свободными?

О. Без сомнения.

В. А все ли люди свободны?

О. Нет. Малое число людей поработило большее.

В. Почему же малое число поработило большее?

О. Одним пришла несправедливая мысль господствовать, а другим подлая мысль отказаться от природных прав человеческих, дарованных самим богом.

В. Надобно ли добывать свободы?

О. Надобно.

В. Каким образом?

О. Надобно утвердить постоянные правила или законы, как бывало в старину на Руси.

В. Как же бывало в старину?

О. Не было самодержавных государей.

В. Что значит государь самодержавный?

О. Государь самодержавный или самовластный тот, который сам по себе держит землю, не признает власти рассудка, законов божиих и человеческих; сам от себя, то есть без причины по прихоти своей властвует.

В. Кто же установил государей самовластных?

О. Никто. Отцы наши говорили: поищем себе князя, который бы рядил по праву, а не самовластью, своевольству и прихотям. Но государи мало-помалу всяким обманом присвоили себе власть беспредельную, подражая ханам татарским и султану турецкому...

В. Есть ли государи самодержавные в других землях?

О. Нет. Везде самодержавие считают безумием, беззаконием, везде постановлены непременные правила или законы.

В. Не могут ли быть постоянные законы при самодержавии?

О. Самодержавие или самовластие их не терпит, для него нужен беспорядок и внезапные перемены.

В. Почему же самовластие не терпит законов?

О. Потому что государь властен делать все, что захочет. Сегодня ему вздумается одно, завтра другое, а до пользы нашей ему дела мало, оттого и пословица: близ царя, близ смерти.

В. Какое было на Руси управление без самодержавия?

О. Всегда были народные вече.

В. Что значит вече?

О. Собрание народа. В каждом городе при звуке вечевого колокола собирался народ или выборные, они совещали об общих всем делах; предлагали требования, постановляли законы, назначали, сколько где брать ратников, установляли сами с общего согласия налоги; требовали на суд свой наместников, когда сии грабили или притесняли жителей. Таковые вече были в Киеве на Подоле, в Новегороде, во Пскове, Владимире, Суздале и в Москве...»

Послужил ли с пользой этот «Разговор»?

Хочется верить, что да.

Александр Пушкин догадывался о тайном обществе.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем (Тургеневым. — *В. Я.*), — однажды спросил он у лицейского друга Ивана Пущина, сидевшего в компании друзей: — Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гулял в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай: право, любезный друг, это ни на что не похоже!»

Пущин ни в чем не признался товарищу. Славу и гордость русской поэзии берегли.

А время не стояло на месте. Но сколько ждать прекрасную зарю, что взойдет «на обломках самовластья»?

Хотелось бы увидеть ее при жизни. Тем более в мире происходили такие события, читая о которых, трудно и самому что-либо не предпринять.

Январь 1820 года. В Испании революция! Во главе восставших Рафаэль Риэго...

Март... Фердинанд VII, охваченный ужасом, признает конституцию, решается отменить инквизицию.

«Слава гишпанскому народу! — восторженно восклицает Николай Тургенев. — Инсургенты вели себя весьма благородно. Объявили народу, что они хотят конституции, без которой Гишпания не может быть благополучна, объявили, что, может, предприятие их не удастся, они погибнут все жертвами за любовь свою к отечеству, но что память о сем предприятии, память о конституции, о свободе будет жить, останется в сердце гишпанского народа...»

Юным республиканцам из России хотелось походить на них.

Разве не прекрасно — остаться в памяти своего народа! Но хватит ли сил возвыситься над слабостью человеческого духа?..

Князь Петр Андреевич Вяземский горько посмеется над своими «либеральными грехами», вспомнив надежды, связанные с Александром I, так и не подписавшим конституцию Российской империи.

«В самый тот приезд мой (1820 г. — *В. Я.*) был я соучастником в записке, поданной государю (по предварительному его соизволению) от имени гр. Воронцова, кн. Меншикова и других, в которой всеподданнейше просили мы его о позволении приступить теоретически и практически к рассмотрению и решению важного государственного вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависимости... Генерал-адъютант Васильчиков, сперва подписавший эту бумагу и на другой день отказавшийся от своей подписи, вероятно, был главнейшею причиной неудачи в деле, которое началось под счастливым знаменованием».

Позже, имея в виду свою неудачу, он напишет: «Злоупотребления режутся на меди, а добрые замыслы пишутся на песке. Я здесь недолго прожил, а успел уже видеть, как разнесло ветром начертание прекрасных предположений. Грустно и гадко. И самые честные люди из видных не что иное, как временщики: по движению сердца благородного бросаются вперед; по причине трусить — при

первом движении августейшего махалы отскакивают назад. И до сей поры адская надпись Данта блестит еще в полном сиянии на заставе петербургской...»

Вяземский прав.

«Оставь надежду всяк сюда входящий!» — надпись столь же злободневная в его времена, как и в дантовские... Государь запретил этому «декабристу без декабря» вернуться в Варшаву. Александр I в сильном гневе.

А Европу лихорадило...

В июле 1820 года карбонарии принудили неаполитанского короля согласиться на конституцию.

Через месяц вспыхнула революция в Португалии.

В начале следующего года — восстание в Греции. Офицер русской армии князь Александр Ипсиланти возглавил национально-освободительное движение против гнета Турции.

«Происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько вновь учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями оные производить. К тому же имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями... Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать.

Вот причины, полагаю я, которые породили революционные мысли и правила и укоренили оные в умах. Что же касается до распространения духа преобразования по государству, то нельзя приписать сие нашему обществу, ибо оно слишком еще было малочисленно, дабы какое-нибудь иметь на сей счет общее влияние, но приписать должно, полагаю я, ежели мысли сии точно распространились, общим причинам, вышеизложенным и действовавшим на прочие умы точно так же, как и на умы членов общества. Может быть, что к тому содействовал также и дух неудовольствия *совершенно независимо от тайного общества*...»

Так гораздо позже напишет П. И. Пестель.

Целью движения союз ставил республику.

В «Союзе благоденствия» спорили. Не ускорить ли пришествие республики цареубийством? Не охватит ли Россию анархия? Быть ли правлению, облеченному верховной властью?.. Не станет ли сие заменой одного деспотизма другим?..

Семеновская история усилила разногласия.

Приговор, вынесенный Александром, всех поразил: нижних чинов отправить в разные полки, офицеров из гвардии перевести в армейские полки, а 1-ю роту и Шварца предать военному суду.

Семеновцы, пораженные жестокостью прочтенного им приказа, долго молчали, а потом... седоусые гвардейцы, не выдержав, зарыдали и стали обниматься друг с другом, как бы прощаясь навеки.

Семеновские офицеры разъезжались в разные стороны.

Среди них и Сергей Муравьев-Апостол, и Михаил Бестужев-Рюмин...

Центр тайного общества переместился в Тульчин. Там Пестель, Лорер, Барятинский... Михаил Орлов в Кишиневе издает свои знаменитые приказы по 16-й пехотной дивизии, вверенной ему в командование. Майора Владимира Раевского арестовывают и увозят в крепость уже в начале 1822 года.

Доктор Харьковского университета, служивший в Генеральном штабе библиотекарем, член Коренной управы «Союза благоденствия», написавший книгу о необходимости освобождения крестьян, Михаил Грибовский посылает Александру I донос:

«С поверхностными большею частью сведениями, воспламеняемые искусно написанными речами и мелкими сочинениями корифеев революционной партии, не понимая, что такое конституция, часто не смысля, как привести собственные дела в порядок, и состоя большею частью в низших чинах, мнили они управлять государством...

Кажется, что наиболее должно быть обращено внимание на следующих людей:

1) Николая Тургенева

2) Федора Глинку

3) фон-дер Бриггена

4) всех Муравьевых, недовольных неудачею по службе и жадных выдвигаться

5) Фон-Визина и Граббе

6) Михайло Орлова

7) Бурцова».

Александр знал о заговоре, но не желал выносить сор из избы.

— Не мне их судить! — сказал он И. А. Васильчикову.

Он помнил свое вступление на российский престол, вступление, обагренное кровью родного отца...

В январе 1821 года Николай Тургенев объявил на московском совещании об уничтожении «Союза благоденствия», в который попало слишком много случайных людей; ненадежных членов должно было удалить. Усилиями Никиты Муравьева в Петербурге было создано новое, более законспирированное общество, названное Северным.

Общество это оказалось у правительства на особом подозрении.

Необходима была осторожность.

Директором Северного общества назначили Никиту Муравьева. Помощниками его стали князья Сергей Трубецкой и Евгений Оболенский, позже Трубецкого заменил Кондратий Рылеев.

Общество росло быстро: братья Бестужевы, Михаил Нарышкин, Петр Каховский, Александр Одоевский, Вильгельм и Михаил Кюхельбекеры, Торсон, Сутгоф...

Никита Муравьев, разуверившись в республиканском правлении, разработал проект монархической конституции, которая бы ограничивала власть государя, начал писать «Катехизис свободного человека».

А. Бестужев и Рылеев сочиняли революционные песни.

На юге создается Южная дума... Пестель пишет «Русскую правду», или Заповедную государственную грамоту великого народа российского, служащую заветом для усовершенствования государственного устройства России и содержащую верный наказ как для народа, так и для Временного Верховного правления».

В будущей России командир Вятского пехотного полка полковник Пестель уничтожал любую монархию. Только республика! Крестьяне освобождаются с землей, далее происходит бурный рост капиталистических отношений.

Как и Никита Муравьев, Пестель был за отмену самодержавия. Тут все ясно! Различие в другом: чем заменить его? Конституционной монархией или республикой? Муравьев оставлял землю помещикам, тульчинский директор отдавал ее крестьянам.

Переворот должен быть военным. В этом они сходились. Но участия в нем народа опасались, боясь новой пугачевщины.

«Я предлагал, — показал Сергей Муравьев-Апостол, — начатие действия явным возмущением, отказавшись от повиновения, и стоял в своем мнении, хотя и противопоставляли мне все бедствия междоусобной брани, непременно долженствующей возникнуть от предлагаемого мною образа действия...»

Бестужев-Рюмин поддержал его, и все же предложение это решено было оставить до времени.

— Мало сил, Петербург еще не готов, — убеждал Пестель. — Не погубить бы дела, не успев начать его.

Муравьев для отечества желал пожертвовать самой жизнью. Бестужева заражало его нетерпение.

«Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин составляют, так сказать, одного человека», — скажет о них Пестель.

Многих «умеренных» фигура тульчинского директора отпугивала.

«Пестель был уважаем в обществе за необыкновенные способности, но недостаток чувствительности в нем было причиною, что его не любили, — отзовется о нем Бестужев-Рюмин. — Чрезмерная недоверчивость его всех отталкивала, ибо нельзя было надеяться, что связь с ним будет продолжительна. Все приводило его в сомнение; и чрез это он делал множество ошибок. Людей он мало знал. Стараясь его распознать, я уверился в истине, что есть вещи, которые можно лишь понять сердцем, но кои остаются вечною загадкою для самого проницательного ума...»

И в словах своих Бестужев был не совсем не прав.

Жизнь шла своим чередом... Вскоре Сергей Волконский женился на Марии Раевской, дочери знаменитого генерала. И Пестель, быв на этой свадьбе шафером, берет с жениха клятву верности тайному союзу.

Михайло Орлов женится на сестре Марии Екатерине. Кто-то отходит понемногу от общества...

Подпоручик Бестужев-Рюмин неукротим: рассылает в разные концы письма, ездит в Москву и Киев, совещается с Муравьевым и революционно настроенными поляками... В портфеле его различные программы и запретные стихи. В 8-й артиллерийской бригаде он обнаруживает тайное Общество соединенных славян, созданное братьями Борисовыми... Оно объединяло наиболее бедную, а следова-

тёльно, и наиболее радикально настроенную часть передовых офицеров.

«Вступая в число Соединенных Славян для избавления себя от тиранства и для возвращения свободы, столь драгоценной роду человеческому, я торжественно присягаю на сем оружии на взаимную любовь, что для меня есть божество и от чего я ожидаю исполнения всех моих желаний. Клянусь быть всегда добродетельным, вечно быть верным нашей цели и соблюдать глубочайшее молчание. Самый ад со всеми своими ужасами не вынудит у меня указать тиранам моих друзей и их намерения. Клянусь, что уста мои тогда только откроют название сего союза перед человеком, когда он докажет несомненное желание быть участником оного; клянусь до последней капли крови, до последнего вздоха вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты...»

Разве может подобная клятва оставить безучастной пылкую русскую душу?.. «Соединенные славяне», воспаленные зажигательными речами молодого подпоручика, клянутся в своей верности союзу. Братья Борисовы, Горбачевский, Андреевич, Люблинский, Сухинов... Их уже более пятидесяти.

Для их настроения характерна яркая речь, написанная Бестужевым-Рюминым к заседанию нового общества.

«Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства, и неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной, русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственные ярма и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе?

Взгляните на народ, как он угнетен. Торговля упала; промышленности почти нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки. Войско все ропщет. При сих обстоятельствах не трудно было нашему Обществу распространиться и придти в состояние грозное и могущественное. Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют... Общество, по своей многочисленности и могуществу, вернейшее для них убежище. Скоро оно восприемлет свои действия, освободит Россию и, быть может, целую Европу».

На деле все было сложнее. Значение общества Бестужев, конечно же, преувеличил. «Славяне» внимали его словам с полным доверием и восторгом. Хотя настроены они были гораздо решительней оратора, не признавали революции без участия народа.

Выступать, только выступать!..

Не «взять» ли государя на маневрах по случаю двадцатипятилетия его царствования? Пестель с трудом удерживает решительных офицеров.

А в Петербурге Кондратий Рылеев пытается расшевелить погрузившееся в вялую дремоту Северное общество.

Царь наш, немец русский,
Носит мундир узкий.
Ай да царь! ай да царь!
Православный государь!
Царствует он где же?
Всякий день в манеже.
Ай да царь!..

Решили начать в 1826 году.

Но царь перехитрил всех: умер в Таганроге 19 ноября 1825 года. В Петербурге об этом узнали через восемь дней.

Кто сядет на престол — старший брат Константин или Николай?

Варшавский наместник от престола отрекся несколько лет назад. Однако об этом знали лишь единицы.

И потому...

Потому всяко могло случиться в Российской империи. Отечественная история дала тому немало примеров.

Началось междуцарствие...

Тревога нарастала.

Из Москвы в Петербург мчался на перекладных Иван Пущин.

«Подлецы будем, — считал он, — если не воспользуемся сим случаем».

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?..

И они решились. Надо было торопиться, так как 26 ноября этого года капитан Вятского пехотного полка Аркадий Майборода обратился к государю с письмом:

«Ваше императорское величество, Всемилостивейший государь!

Слишком уже год, как заметил я в полковом моем командире полковнике Пестеле наклонность к нарушению всеобщего спокойствия...»

В доносе этом значилось сорок пять имен!..

13 декабря в местечке Линцы тульчинский директор был арестован. До 14-го — менее суток. Для сомнений времени не оставалось. Рубикон был перейден.

Но вернемся к нашему герою. Посмотрим, с чем и как он пришел к этому дню...





ГЛАВА ВТОРАЯ

Раздавайся ж, клич заздравный,
Благоденствие, живи
На Руси перводержавной,
В лоне правды и любви!
И слезами винограда
Из чистейшего сребра
Да прольется ей услада
Просвещенья и добра!..

А. А. Бестужев
(Марлинский)

1

„Высокий, здорового сложения, красивый собою, с открытым живым взглядом, с каким-то сердечным сообщающимся смехом, Александр был чрезвычайно симпатичен, умен, учился хорошо и в душе был поэт».

(Из воспоминаний Е. В. Львовой)

— Любезный князь! Позвольте поздравить вас с днем ангела!

— Вы, как всегда, милы, кузина.

— Mon cher, Alexandr! Разреши обнять тебя!..

— Право, вы меня совсем избаловали, Борис Андреевич! Я очень рад, что вы приехали к нам.

— Так спешил, друг мой, что и к себе в Симу не заглянул.

Князь Голицын был в отличном расположении духа.

Иван Сергеевич Одоевский, приметив старого друга своего и родственника, уже спешил, празднично одетый, по широкой песчаной аллее.

— Музыку! Музыку моему сыну и дорогим гостям! Никита, готовь фейерверк!..

До позднего вечера не стихали в барской усадьбе веселый смех и музыка. Казалось, весь уезд собрался се-

годня в Николаевском. Именины молодого князя справляли пышно, с размахом.

Со дня смерти матушки он, пожалуй, впервые находился в столь возбужденном состоянии. Гости, музыка, поздравления родных и знакомых, как ни странно, укрепили в нем давно созревшее желание уйти из гражданской службы на военную.

«Я с природы не робок. Военного времени не было... но мне и другим казалось, что я в душе солдат; был всегда отважным мальчиком: грудь, голова, ноги — все избито...»

Как хотелось ему сменить штатский сюртук на военный мундир! С завистью смотрел он на своих сверстников, служивших в различных полках, на их палаши, кирасы и каски...

— В конце концов, папа́, я мужчина. И мне необходимо пройти военную школу.

Старый князь помалкивал. Однако при взгляде на мундир, давно пылившийся в шкафу, в душе его появлялось странное .чувство, от которого колотилось сердце и немели пальцы, давно не державшие заветной шпаги.

— Что ж, Александр, видно, и тебе на роду написано верой и правдой послужить государю.

После смерти жены он часто впадал в меланхолию, хандрил.

Когда гости разъехались, он зашел в комнату сына. Александр сидел за столом и писал.

— Сочиняем?

— Дописываю письмо брату Володе, еще утром начал. Вы читали его записку?

— Уже послал ответ.

— Не припишете ли еще несколько слов?

— Пожалуй.

Иван Сергеевич пробежал глазами по листу бумаги, испещренному размашистым торопливым почерком...

«Николаевское, 31 августа 1821 г.

Друг и брат!

Я написал к тебе предлинное письмо, где разругал тебя за твою ветреность (касательно Георгик) — и уже печатал письмо, исполненное угроз и увещеваний; но в это самое мгновение получил великолепные стихи твои, в *новом вкусе* написанные, прекрасное поздравление — и я смягчился даже до того, что бросил письмо в огонь.

Народ, народ! Реви и плачь!
Мой братец на стихи палач...

Хотелось мне также подражать тебе в слове *стройность;* но я чувствую, что это сопряжено с большими препятствиями: я еще с ума не сошел — и потому никак не могу решиться послать что-нибудь недостойного великого, знаменитого, славного, единственного, чрезвычайного, сверхъестественного моего пиитического таланта! Я гений — и пишу единственно для потомства, для славы, т. е. для ума, для сердца: по тому самому ты редко и получаешь письма от меня. Ты еще так молод, ты еще так мало упражнялся в словесности, ты так чужд всему, что составляет сущность наук, что такому ученому, такому мудрому мужу, как я, не о чем с тобой и говорить! Итак — лучше молчать. Прощай, мой друг — до свидания.

Александр Одоевской».

— Однако, Саша, ты не слишком скромен, — заметил Иван Сергеевич.

Александр рассмеялся.

— Ничего, Вольдемар стоит подобного письма.

— Ну-ну! — усмехнулся отец и снова углубился в чтение.

«...Фейерверк был, ракалья вытаращила глаза, и молва затрубила в свою громкую трубу так громко, что весь уезд тогда же узнал, какой великий человек именинник!.. К 12 сент. мы будем в Москве, пошли за Георгиками к Глазунову...»

— Александр, дай перо!

Иван Сергеевич на несколько минут задумался и быстро написал по-французски:

«Благодарю тебя, дорогой Владимир, за твое письмо от 27 текущего месяца, которое я только что получил — я ответил тебе на твое письмо. — Александр просил меня не уезжать сегодня, 31-го, как я ему обещал, — и остаться здесь до 10. Итак, до свиданья до 12—13. Стереги, карауль нас у Гаврилы Ив... *ибо я хочу тебя видеть* и обнять. До свиданья. Весь твой *И. Од[оевский]».*

Сложив вдвое лист, он написал на большом желтом конверте: «В Москве. Его Сиятельству милостивому государю моему князю Владимиру Федоровичу Одоевскому. На Тверской в доме университетского пансиона».

Уходя, он поцеловал сына.

Оставшись один, Александр допоздна читал. Затем открыл дверь и, спустившись по ступенькам, вышел в сад.

За высокими деревьями, за голубой лентой Нерли, за темными владимирскими холмами осторожно плыла луна... Она была чиста и светла, какой нередко бывает над средней Россией, над самым сердцем Руси, бескрайней и многострадальной, залеченной живой водой, весеннею травой, рассветными ветрами...

Луна плыла над безмятежно спящей в этот час землей. И в ясном лике ее пытался Александр угадать свою судьбу. Но лик подернулся тяжелой тучей.

2

Первого октября 1821 года Александр Одоевский «из отставных губернских секретарей» был зачислен «на праве вольноопределяющихся унтер-офицером в Лейб-Гвардии Конный полк».

И сразу же принял участие в Велижском учебном походе, начавшемся еще в сентябре. Петербург пришлось покинуть...

Белоруссия ему не понравилась. Он скучал без столицы, без хорошего общества и друзей.

В письмах к брату он, однако, бодрился.

«...я весел — столько, сколько могу быть веселым без тебя, без Вольдемара Львова, без Тенегина в ожидании роковой минуты, когда должно будет разлучиться и с первым моим другом после дражайшей, бесценной, второго моего бога...»

Он страшится минуты, когда наступит разлука с отцом, поначалу сопровождавшим его в походе. В новоиспеченном юнкере еще много детского, но признаваться в этом он не любит и потому бравирует своим знанием жизни и независимостью, говорит плавно и величаво, нередко, правда, срываясь и давая «петуха»...

«Я весел — по совсем другой причине, нежели мой Жан-Жак бывая веселым. Он радовался — свободе, а я — неволе. Я надел бы на себя не только холст, кирасу, но даже — вериги, для того только, чтоб посмотреть в зеркало, какую я делаю рожу: ибо le génie aime les entraves[1]. Я не почитаю себя гением, в этом ты уверен; но признаюсь, что дух мой имеет что-то общее avec le gé-

[1] Гений любит препоны *(франц.)*.

nie[1]. Я люблю побеждать себя, люблю покоряться, ибо знаю, что испытания ожидают меня в жизни сей, испытания, которые, верно, будут требовать еще большего напряжения моего духа, нежели все, что ни случилось со мною до сих пор...»

Сердце подсказывает Александру, что жизнь преподнесет ему немало тяжких сюрпризов. Он верит, что достойно их перенесет, и тут же, вспомнив о смерти матери, случившейся год назад, печалится, и гордо воспаривший дух его спускается в одни ему ведомые тайники, полные невыплаканных слез и неушедшей боли.

«...Ах! — я забыл в эту минуту, что я лишился маменьки и что еще наслаждаюсь жизнию. Конечно, уж это одно испытание доказывает некоторую твердость или расслабление моего воображения, которое не в силах представить мне всего моего злосчастия. Я слаб, слабее, нежели самый слабый младенец, и потому кажусь твердым. Я перенес все — от слабости! Я не знаю, что я пишу — все мои чувства в волнении, а мысли в расстройстве. Прощай.

Алекс[андр] Одоевской».

Образ матери преследовал его и в Велиже. Стоило лишь раскрыть медальон.

Скоро подошла разлука и с отцом. Иван Сергеевич уезжал в Петербург, а затем в Николаевское. За имением нужен был строгий хозяйский глаз. Смерть жены сильно удручила и его. Но жизнь шла, и при всей своей любви к единственному сыну князь нередко, грешным делом, подумывал о новой супруге.

Что ж делать?.. Мысли свои на этот счет он держал пока при себе.

— До свиданья, сын! Весной полк ваш вернется Петербург, там и встретимся.

Прощание с сыном не на шутку расстроило его.

— Счастливой дороги, отец!

— Пиши чаще! И веди себя достойно.

Отец уехал, настроение у Александра не улучшалось, о стихах он вспоминал нечасто: не шли на ум, отягощенный путаными думами.

Он и сам не знал, что с ним творилось.

«Причиною расстройства моего духа были грусть и скука, хотя нигде нельзя приятнее провести время, как

[1] С гением *(франц.)*.

в обществе новых моих товарищей: но минувшее и будущее сильнее действует мгновения настоящего, слишком быстрого для наслаждения души...»

Служба не очень отягощала его.

Полковые товарищи любили Александра...

Граф Егор Комаровский, получивший воспитание в иезуитском пансионе, юноша любезный, прекрасно разбирающийся в древних и новых языках, благоволил к нему и особо выделял его среди других. Их дружеские беседы об истории и изящной словесности были приятны и полезны обоим.

Александр Ринкевич — человек мечтательный, наделенный добрым и чувствительным сердцем, обладал слабым здоровьем, и Одоевский не раз ходил за него в караулы. Большую часть времени Ринкевич проводил за чтением любовных романов, писанием тайком стихов и писем обожавшим его родителям.

Василий Долгорукий был обходителен, аккуратен и пунктуален в мелочах. О больших материях он старался не думать, ибо от них болела голова, которую, на его взгляд, следовало поберечь для дел более значительных и серьезных.

Восемнадцатилетний Иван Лужин служил старательно: запретных книг не читал, предосудительных связей не имел и со старшими по званию и должности не пререкался... Словом, воспитанный молодой человек!

Александр Донауров по скромности своей всегда держался в тени: был замкнут, занят своими мыслями, отнюдь не радостными, судя по его печальному лицу. Кажется, он знал о своем тяжелом недуге, преодолеть который безуспешно пытались помочь ему доктора.

Эти характеристики дал своим товарищам сам Одоевский в письмах к родным и друзьям.

Свободного от службы времени было много. В такие часы Одоевский читал или сочинял стихи, к которым относился довольно небрежно, тут же забывая их. Хотя в уединении, втайне от всех, приходили и вдохновение, и мечты о славе...

Иль сбросив бремя светских уз,
В крылатые часы отдохновенья,
  С беспечностью любимца муз,
  Питаю огнь воображенья
Мечтами лестными, цветами заблужденья.
  Мечтаю иногда, что я поэт,
  И лавра требую за плод забавы,

И дерзостным орлом лечу, куда зовет
Упрямая богиня славы:
Без заблужденья — счастья нет.
За мотыльком бежит дитя вослед,
А я душой парю за призраком волшебным,
Но вдруг существенность жезлом враж[д]ебным
Разрушила мечты — и я уж не поэт!
Я не поэт! — и тщетные желанья
Дух юный отягчили мой!
Надежда робкая и грустны вспоминанья
Гостьми нежданными явились предо мной...

В декабре он неожиданно слег — простудился на сквозном ветру. Боли в груди, преследовавшие его с детства, усилились. Домой о болезни он не писал и брата Володю предупредил, чтоб тот случаем не обмолвился о его положении папеньке. Полковой лекарь подозревал горячку.

Но от любящего отцовского сердца беды не скрыть. Иван Сергеевич неожиданно прикатил в Велиж, привез сыну и его друзьям множество деревенских гостинцев, поговорил с начальством, заставил рассказать Александра о своем житье все без утайки.

— Не смей ничего скрывать от отца!..

«Мой милый брат и друг Володя! Папенька расстался со мной третьего дня: сколь приятно было свидание, столь же горестна была разлука; но вознаграждение — общий закон природы! Волшебное слово *общий* — большое утешение! Я знаю по крайней мере, что у меня много сотоварищей на белом свете. Человек в радости, в счастье любит отличаться, но в горе охотно сравнивает себя с другими. Тогда сотоварищество ему приятно...»

Болезнь отошла, притаилась до времени.

Володя держал «открытые испытания» по окончании пансионского курса, но совсем некстати стал без разбору влюбляться в ветреных городских красавиц. Все пишет о какой-то Вареньке, нареченной своей Дульцинее... Пришлось на правах старшего выговаривать ему. Старый князь тоже написал легкомысленному Вольдемару строгое письмо.

Владимир обиделся, надулся на своего двоюродного брата.

Александр тут же ответил ему:

«Я никогда не остаюсь без оправданий! знай это; — ты очень худое мнение имел обо мне, обвиняя меня в нескромности и неосторожности, и по тому самому ты

весьма, весьма ошибся. В мои лета, т. е. будучи годом старее осьмнадцатилетнего ветреного Володи, — обдумываешь все, что ни делаешь: понимаешь ли? Я ни слова не сказал папиньке о твоей Дульцинее; я не в состоянии это сделать; с вверенной мне тайной я так же обхожусь, как брадобрей царя Мидаса: я готов скорее зарыть ее совсем в землю, когда уж скромность не в мочь: моя ли вина, если на том месте вырастет какой-нибудь болтливый тростник. Повторяю тебе — я ни слова не говорил папиньке о твоей мнимо-аршинной Вариньке, но он сам как-то кинул на мое письмо быстрый взор — взор убийственный для хорошего мнения, которое ты некогда имел о моей скромности... я теперь в благовоспитанном и приятном обществе своих товарищей в Сураже, т. е. сорок верст от моей гаупт-квартиры...»

В апреле Владимир Одоевский благополучно вышел из университетского пансиона, и Александр поспешил поздравить своего брата и предостеречь от соблазнов «большого света».

«Поздравляю тебя, поздравляю от души, с возмездием, которое ты заслужил более, нежели многие другие. Увы! Я не читаю газет московских, не могу достать 27-го номера и лишен удовольствия прочесть имя твое напечатанным курсивными буквами...

Но шутки в сторону! Наконец ты расстался со своей темницей, вступил или скоро вступишь в большой свет, ты вступишь на поприще, совершенно новое, где авось-либо не будешь спотыкаться. Бойся, бойся Вариньки, если не этой, то другой. Но еще больше спасайся общества, которое заводит молодых людей в архиерейское болото. Помнишь ли, Володя, ты бывал там, когда ты не был еще совершенно свободен, но теперь не воспользуйся слишком *во зло* себе своею свободою...

Конец твоего письма совсем расстроил меня. Я уже знал, что князь Борис Андр[еевич] умер, что и семейство его и папинька его лишились. Известие о его кончине поразило меня чрезвычайно... Но я привык к печали. Он истинная потеря для ближних и для друзей...»

27 мая 1822 года лейб-гвардии конный полк покинул Велиж и стал подвигаться к северной столице. Одоевский со своими товарищами облегченно вздохнули. Велиж они оставляли без всякого сожаления.

Наконец Витебская губерния сменилась Псковской, Александр ожил, вновь потянуло его к стихам, к серьез-

ным занятиям словесностью... Волновало его лишь одно: от отца довольно долго не было писем. В чем дело? Не случилось ли какой-то беды?..

К тому же именно сейчас позарез нужна тысяча рублей. И экипировку сменить, и выписать некоторые книги...

Великие Луки встретили конногвардейцев проливным дождем, но настроение этим Александру не испортили. На дворе стоял июнь, к началу следующего месяца он рассчитывал уже быть в Петербурге, по которому соскучился.

Вскоре достославный «Велижский поход» был завершен. Александр метеором влетел в столицу.

«Идучи по Садовой, — 11 июля взволнованно записывает в свой дневник Константин Сербинович, — встретил едущего на дрожках князя А. И. Одоевского. Более полутора года мы не виделись, и тем свидание было восхитительнее. Мы смотрели друг на друга, перебивая взаимно речи вопросами и видя, что от радости друг друга не понимаем, условились увидеться завтра, чтобы наговориться вдоволь. Я спешил между тем к Дмитрию Николаевичу (Васькову) известить его о сей нечаянной встрече...»

Встретившись на следующий день, они до самой ночи не могли наговориться. Тринадцатого июля они снова провели вместе.

«Будучи у кн. Одоевского, имел с ним славный спор о монахах. Я утверждал, что это сословие принесло государству великую пользу сохранением в России света наук и словесности, не говоря о религии; что нынешние монахи не все и не везде добродетельны, но чрез то учреждение монашества не теряет цены своей и пользы, что они небесполезные члены общества.

Князь не соглашался со мною, при прощании желал мне всех благ — и перемены в образе мыслей — я ему тоже.

— Прекрасно! — возразил он. — Так после этого каждый из нас будет утверждать противное тому, чего теперь держится...»

Яркий пример разного образа мыслей двух юных приятелей.

Менее чем через три года придется им встретиться в стенах Петропавловской крепости: одному — осужденным, другому — чиновником Следственной комиссии.

В августе Александр укатил на свою дачу в Стрельну, поближе к морю и соснам, мечтая «всецело посвятить себя служению искусству и наукам». Потом он внезапно собрался поехать со своим дядей Дмитрием Сергеевичем Ланским в длительное заграничное путешествие, о чем решил посоветоваться с отцом.

Так хотелось ему посмотреть на Европу!..

3

За границу Александр не поехал.

Отец отговорил Ланского.

Одоевский огорчился, но скоро забыл о своем желании. Он действительно был молод, и петербургская светская жизнь закружила его.

Иван Сергеевич, видевший в сыне продолжателя угасшего княжеского рода, всячески баловал его, окружая лаской и заботой, давая понять Александру, что роль ему в жизни предназначается значительная, к коей готовиться необходимо с раннего детства.

— Пора заняться и своим поместьем! — неоднократно говорил он.

После смерти матери Александру досталось обширное имение в Ярославской губернии. Но вступать во владение им молодому князю пока не хотелось. Материальными делами ведали Ланские — Дмитрий Сергеевич и Варвара Александровна, можно сказать, заменившая ему горячо любимую покойную мать.

«Я занимался словесностью, службою, проводил мое время у моих родных, жизнь моя цвела...»

Цвести-то она цвела, да не совсем так, как хотел бы старый князь Иван Сергеевич. Учителя (Арсеньев, Шопен и др.) и данное ими широкое гуманитарное образование свое дело сделали: именно через словесность, французскую по преимуществу, проникали в умы русской дворянской молодежи либеральные идеи, которые казались юноше в то время очень революционными. Вольтера, а в особенности «любимого Жан-Жака» Александр обожал с давних пор. Ему были знакомы и английские экономисты Смит, Сисмонди... Их, возможно, знали и не все.

Перебравшись из Стрельны в Петербург, он все свободное время проводил в словесных упражнениях, в разъездах по гостям и на балах...

Он жил той беззаботной жизнью, что окружала его.

В дамском обществе молодому богатому князю, поэту и красавцу, неизменно сопутствовал успех.

— Ах, князь! Я на вас обижена. Уж не кузине ли моей вы посвятили...

Встал ветер с запада; седыми облаками
Покрыл небес потухший океан.
    Сквозь тонкий, видишь ли, туман,
    Как увлекаемый волнами
    Челнок летает золотой...

— Право, сударыня, сия безделушка не стоит того, чтоб ее произносили столь прекрасные уста.

— Вы льстец, Александр!

— Отнюдь!.. Строки, сказанные вами, навеяны луною, которую я очень люблю. Я был в Стрельне, шел вдоль моря... Вздымались волны, и лик встающей над водой луны был истинно прекрасен. Как ваше лицо, освещенное милой улыбкой!

В доме Саши Ринкевича Одоевского встречали восторженно, считая его «идеалом ума и души».

— Ты вновь грустишь, друг мой! И никуда не ездишь?

— До того ли, Александр? — Ринкевич слабо улыбался. — Нынешней ночью всех переполошил: кровь горлом пошла. Maman от горя слегла. Но я стараюсь вида не показывать.

Изредка Одоевский заезжал с визитом к своей двоюродной сестре Элизе. После рождения двойняшек она пополнела, походка ее стала важной и медленной, к нему она относилась по-прежнему чуть покровительственно и ласково. Элиза гордилась тем, что крестной матерью ее дочерей была сама вдовствующая императрица Мария Федоровна.

— Она так добра к малюткам. Давеча прислала им золотые образки...

Муж ее, входивший в фавор генерал Иван Федорович Паскевич, Александру не нравился. Года три назад вернулся он из поездки по России и Западной Европе, куда сопровождал в качестве воспитателя великого князя Михаила Павловича. Маленький, рыжий и курносый, он нередко давал понять окружающим, что состоит с Марией Федоровной в дружеской переписке, а с сыновьями ее — в тесной дружбе.

«Любезный мой Иван Федорович, старый мой коман-

дир!..» — такими обращениями пестрели письма великого князя Николая Павловича к Паскевичу.

Несмотря на добрые чувства к Элизе, дом ее Александр покидал с большим облегчением. Иное дело дом на Мойке близ Синего моста, где проживал правитель канцелярии Военно-счетной комиссии, большой друг Грибоедова, Андрей Андреевич Жандр. Доброжелательный, он встречал Александра вопросом:

— Что нового в петербургских салонах, князь? — Тут же шутливо грозил пальцем: — Без новых пьес и на порог пускать не буду. Разбалуешься, а Александр Сергеевич в письмах все спрашивает, что и как его брат? С пользой ли для отечества проходят лета его?..

Одоевский смущался.

Жившая у Жандра писательница Варвара Семеновна Миклашевич приходила к нему на помощь:

— Не будьте к юноше слишком строги, Андрей Андреевич! Вспомните свою молодость.

— А я и сегодня еще не стар! — смеялся в ответ Жандр.

Миклашевич любила Одоевского материнской любовью.

Позже в своем романе, проникнутом сильнейшим протестом против крепостного права, «Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия», она в образе Александра Заринского создаст довольно верный его портрет:

«Он был самого большого роста и необыкновенно приятной наружности. Бел, нежен. Выступающий на щеках его румянец, обнаруживая сильные чувства, часто нескромностью своею изменял его тайнам. Нос у него был довольно правильный; брови и ресницы почти черные, большие синие глаза — всегда несколько прищуренные, что придавало им очаровательную прелесть; улыбка на розовых устах, открывая прекрасные зубы, выражала презрение ко всему низкому...»

Встречи Александра со старыми приятелями продолжались....

5 января 1823 года К. Сербинович отметил в дневнике: «...поспел я на обед к кн. А. И. Одоевскому. Говорили с ним о «Полярной звезде», беседовали с ним подле камина о поэзии, о правиле que muscuit utile dulce [1], о Байроне, князь читал мне стихи свои «К товарищам»,

---

[1] Кто смешивает полезное с приятным *(итал.)*.

мы заговорили о службе, о молодых людях, о поведении...»

К сожалению, стихотворение это, как и многие другие, до нас не дошло.

В середине января в Петербурге состоялось торжественное собрание Российской академии.

— Вы не хотите посетить его, Александр? — спросил Одоевского его бывший учитель Соколов. — Заседание будет интересным и по числу именитостей, и по значению своему для отечественной литературы. Кстати, и я приму в нем самое непосредственное участие.

Собрание прошло блестяще...

Карамзин прочел отрывки из десятого тома своей «Истории...». Характер, властолюбие и происки Бориса Годунова были изложены им столь мастерски и впечатляюще, что в зале долго не стихал одобрительный гул.

Затем Николай Гнедич, повернувшись к присутствующим в профиль, повысив и без того значительный голос, «прокричал экзаметры Жуковского и свинцовые александрийские стихи Воейкова». Переводчик «Илиады» в своем искусстве декламации был «неподражаем». Александра, по его собственным словам, он попросту оглушил.

Одоевский успокоился, лишь услышав следующего чтеца, князя Шаховского, мягко пропевшего две сцены из своей комедии «Аристофан».

Секретарь академии Соколов, по словам Карамзина, стал «душить» слушателей переводом отрывка из «Истории» Тита Ливия о взятии Рима галлами. Однако Одоевскому его чтение понравилось, ибо «нельзя всегда быть беспристрастным — особливо, когда имеешь сердце».

И наконец, Ивану Андреевичу Крылову, тучному и совсем было задремавшему в мягком кресле, в знак уважения к его заслугам перед российской словесностью и прочая, и прочая поднесли золотую медаль.

Крылов многократно раскланивался и тер ладонью слезящиеся от яркого света глаза.

Домой вернулся Александр в сильном возбуждении.

Собрание взбодрило его, в душе вновь забродили поэтические замыслы, для осуществления которых силы чувствовались необъятные.

Ночью он писал. В городе рождалась весна, в душе Александра — поэтические грезы...

Тревожила лишь его судьба двоюродного брата Володи, кажется, воображавшего, что в «глубокомысленных

умозрениях непонятного Шеллинга» заключена вся человеческая премудрость.

«Мой милый Володя! Ты философ хоть куда!.. Я читал, читал и напряженный ум мой не видел ни зги в дедале (здесь: лабиринте. — *В. Я.*) Шеллинговой философии... Впрочем (из того, что я понял), я заметил, что ты не только философ на словах, но и на самом деле, ибо первое правило человеческой премудрости *быть счастливым, довольствуясь* малым. Ну, не мудрец ли ты, когда ты довольствуешься одними словами, а что касается до смысла, то, по доброте своего сердца, просишь у Шеллинга — едва только малую толику? Ты, право, философ на самом деле! Желаю тебе дальнейших успехов в практическом любомудрии. Мой жребий теперь, мое дело быть весьма довольным новым состоянием своим и обстоятельствами. И я философ — я смотрю на свои эполеты, и вся охота к опровержению твоих суждений исчезла у меня. Мне, право, не до того. Верю всему, что ты пишешь; верю честному твоему слову, а сам беру шляпу с белым султаном и спешу — на Невский проспект...»

Но на Невский спешил он не слишком часто.

Появлялись новые друзья, уходили из жизни старые...

Умер Саша Донауров, не прожив и девятнадцати лет, «не сдержав обещаний, которые за него давали — ум его и сердце». Одоевский ездил на похороны, стоял у гроба товарища, с коим дружно проводил время в Велиже и, к сожалению, редко встречался в Петербурге.

Утешая плачущую мать, он «вспомнил все, что потерял в этой жизни... вспомнил ту, которая была для него матерью, наставником, другом, божеством...».

Так быстротекуче время!.. Весна сменилась летом, да скоро и оно занесло проспекты и бульвары желтыми листьями...

Вольдемар затеял в Москве с другом своим Вильгельмом Кюхельбекером альманах «Мнемозина», объявление о котором появилось уже в «Русском Инвалиде». Брат просил Александра помочь ему в распространении подписных билетов...

Выполнять поручение брата взялся он рьяно.

Скоро распространил девять билетов. Расписываясь в получении 25 или 30 банковских ассигнаций, он выставлял свое имя лишь тремя буквами: К. А. О., что означало: князь Александр Одоевский... Хоть и корил себя за это, признаваясь Володе:

«Всего имени не могу решиться выставить! Что брат! Феодальная гордость еще не совсем исчезла! Худо, очень худо, но тетушки, да дядюшки — народ самый своенравный, — так много нажужжали мне в уши, что я не захотел выдать себя за твоего прикащика по журнально-коммерческим оборотам. Прости, и, ради бога, из великодушия не пиши сатиры на твоего брата...»

Ездить приходилось немало. И усилий прилагать тоже, особо если учесть, что петербургские дворяне «и за малостью с трудом в карман ходят».

Стихи Александр Одоевский писал, но писал беспорядочно.

2 февраля 1824 года К. Сербинович занес в дневник: «Зашел к Дмитрию Николаевичу (Васькову) и кн. Одоевскому. Стихи его «К юности»...»

Увы, о чем они — мы не знаем.

Стихи свои он мало кому показывал, считая их несовершенными; печатать свои произведения в первоначальном виде не хотел, доделывать же не было времени, а чаще — желания. А брат Володя постоянно просил для своего альманаха его пьесы. Приходилось как-то выкручиваться...

«Стихи пишу и весьма много бумаги мараю не только в продолжение года, но даже ежедневно, смотря по вдохновению. Но этого не довольно: люблю писать стихи, но не отдавать в печать, как Хвостов и как пропасть безмысленных, которым кстати было бы и быть безсловесными. Ты богат прозою; довольно и стихотворений в твоей Мнемозине: стало быть, недостатка в худом нет. Если бы нужно было пополнить количеством, а не качеством, — так и быть! по дружбе к тебе, но чуждый журнального славостяжания, я бы прислал к тебе десяток од, столько же посланий, пять или шесть элегий — и начала двух поэм, которые лежат под столом полуразодранные и полусожженные — по обыкновению...»

Когда кузен принял участие в пошлой словесной распре с издателем «Дамского журнала» князем П. И. Шаликовым, Александр укорял его:

«Что у тебя за война? Перестань *журналиться;* в этом нет прока! Перебраниваешься, ругаешь *кого? как?* и *за что?* Три вопроса, которые я у тебя же выкрал и которые и теперь очень кстати. Лежачих не бьют, а особливо *ослов;* ты их тем заставишь только встать и снова лягаться. Приятная война! И славные противники! Скажи,

мой друг, как ты судил бы обо мне, корнете, если бы я с палашом своим (тупым или острым, про то не знаю) напал на Арлекина с деревянною шпагою? Чем сочел бы ты меня? Что сказали бы об моем подвиге люди военные, знающие свое благородное ремесло? Что? Я молчу, но советую тебе презирать достойных презрения, ибо все скажут, что, заводя с ними войну, ты почитаешь их достойными своих усилий и ударов... Смейся, смейся, мой друг!.. Журнальные статьи не должны высасывать все твои мысли и чувства. Береги свою желчь, ибо и ее можно употребить на что-нибудь путное в сей странной жизни...»

Подошло лето...

Грибоедов был уже в Москве. Александр, наслышанный о пьесе своего брата и старого друга, с нетерпением ждал его. Он словно чувствовал, что скоро судьба его круто изменится. А чувства его редко обманывали...

4

Приехав в Петербург, Грибоедов остановился у Демута.

Вечером в гостинице появился Александр Одоевский. Был он в мундире конногвардейского полка.

— Поехали к Ланским! — обняв Грибоедова, предложил он.

Грибоедов рассмеялся. В Петербурге все было попрежнему.

Комедию он привез с собой, надеясь все же протащить ее через цензурные рогатки. Но первые дни об этом не думал: многочисленные визиты и знакомства отнимали все время.

«...Василий Серг[еевич] Ланский — министр внутренних дел, цензура от него зависит, мне по старому знакомству вероятно окажется благоприятен... — через десять дней писал он Степану Бегичеву. — Частию это зависит от гр. Милорадовича; на днях он меня угощал обедом в Екатерингофе. Вчера я нашел у Паскевича велико[го] князя Никол[ая] Павл[овича]; это до цензуры не касается, но чтоб дать понятие, где бываю и кого вижу.

С Трубецким буду писать тебе вторично и много.

...Никита, брат Александра Всеволодского, Александр, брат Володи Одоевского, журналист Булгарин, Мухановы

и сотни других лиц, все у меня перед глазами. Прощай, голова вихрем идет...»

А ей было отчего идти!..

Визиты, балы, чтения комедии... Грибоедова буквально разрывали на части. Нельзя сказать, что это не льстило его авторскому самолюбию, однако он уже долго не притрагивался к своей пьесе, на его взгляд, не вполне еще завершенной.

Недовольствие собой росло.

«...Кстати, прошу тебя моего манускрипта никому не читать и предать его огню, коли решишься: он так не совершенен, так нечист, — жаловался он своему московскому другу, — представь себе, что я слишком восемьдесят стихов, или, лучше сказать, рифм переменил, теперь гладко, как стекло. Кроме того, на дороге мне пришло в голову приделать новую развязку; я ее вставил между сценою Чацкого, когда он увидел свою негодяйку со свечою над лестницею, и перед тем, как ему обличить ее; живая быстрая вещь, стихи искрами посыпались, в самый день моего приезда, и в этом виде читал я ее Крылову, Жандру, Хмельницкому, Шаховскому, Гр[ечу] и Булг[арину], Колосовой, Каратыгину, дай счесть — 8 чтений. Нет, обчелся, — двенадцать; третьего дня обед был у Сталыпина, и опять чтение, и еще слово дал на три в разных закоулках. Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет...»

Он бывал в театрах, слушал в исполнении Колосовой сцены из Мольера и Мариво, встречался с Каратыгиным, которого высоко ценил, и в десятый раз хлопотал в цензуре, мало-помалу приходя к выводу, что надежда увидеть свою комедию на сцене нереальна, как и в печати тож.

Ездил он и в Царское Село, где целый день провел со знаменитым историографом Карамзиным.

Александр Одоевский нередко сопровождал его в этих поездках, коли бывал свободен.

— Друг мой! Пишешь ли сам что-нибудь?

— Когда найдет вдохновение, да и то большей частью утериваю измаранные листы, — беспечно отвечал Одоевский.

— Поэзия, друг мой, не терпит легкомысленного к себе отношения! Запомни это.

Корнет конногвардейского полка лишь улыбался. К советам своего знаменитого двоюродного брата он, ко-

нечно же, прислушивался. Но считал, что жизнь впереди большая и паруса его ладьи, наполненные ветром легкомысленной юности, все равно приведут к прочному берегу, пристав к которому он резко переменится и пойдет за своей путеводной звездой, чей свет еще так призрачен и далек.

Погода в Петербурге установилась пасмурная. Хлопоты с комедией и беспрерывные визиты осточертели вконец. Конногвардеец его укатил в Стрельну, чтобы под шум прибоя заняться созданием изящных пиитических пиес. Бегичевы в Москве. Куда податься?.. Лишь у Жандра с Миклашевич Грибоедов отдыхает по-настоящему, душой и телом.

А скоро произошла встреча с человеком, дружбу с которым он пронесет до самой смерти. Это был Александр Бестужев, выступающий в журналах под псевдонимом Марлинский. Позже он вспомнит:

«...случай свел нас невзначай. Я сидел у больного приятеля моего, гвардейского офицера Н. А. М[ухано]ва, страстного любителя всего изящного. Вдруг дверь распахнулась; вошел человек благородной наружности, среднего роста, в черном фраке, с очками на глазах.

— Я зашел навестить вас, — сказал незнакомец, обращаясь к моему приятелю: поправляетесь ли вы?

И в лице его видно было столько искреннего участия, как в его приемах уменья жить в хорошем обществе, но без всякого жеманства, без всякой формальности; можно сказать даже, что движения его были как-то странны и отрывисты, и со всем тем приличны, как нельзя более. Оригинальность кладет свою печать даже и на привычки подражания. Это был Грибоедов.

Обрадованный хозяин поспешил познакомить нас. Оба имени прозвучали весьма внятно, но мы приветствовали друг друга очень холодно, даже не подали друг другу руки. Сели. В дыму трубок разговор завязался по-французски о чем-то весьма обыкновенном; наконец, он склонился на словесность...»

Разговор шел о Гёте и Байроне, Шекспире и Стерне...

«Мы скоро расстались, с меньшей холодностью, правда, но без всяких приветов и приглашений...»

Лишь после знаменитого ноябрьского наводнения Бестужев прочитает у Фаддея Булгарина «Горе от ума» и, будучи потрясен гениальной комедией, приедет к Грибоедову просить его знакомства и дружбы.

Но это произойдет значительно позже.

А пока... пока Грибоедов проживал по-прежнему у Демута, скучал и мучился однообразием быстролетящих дней.

Вскоре представился случай покинуть обжитой угол. Виной тому стал московский знакомый и поклонник поэта Петр Николаевич Чебышев, преследовавший его своими «экстазами». И вот Грибоедов велел увязать чемоданы, сел в коляску и укатил на взморье к Одоевскому, дружба с которым становилась все крепче.

...Они шли вдоль берега. Море волновалось, холодные брызги летели в их лица. Ноги вязли в тяжелом мокром песке.

Одоевский молчал. На днях написал он письмо ярославскому губернатору А. М. Безобразову с просьбой:

«Для устройства дел моих, почитаю я необходимым воспользоваться благодетельным учреждением нового Банка. Имение же, доставшееся мне после покойной моей родительницы, не только не справлено и не отказано, но даже и перечислено за мною. По чему, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, оказать мне благодеяние распоряжением о вводе меня во владения, и потом, по прилагаемому при сем прошению, обязать меня истребованием из Гражданской Палаты свидетельства на имение мое, в Ярославской Губернии находящееся...»

Ему уже двадцать два года. Пора привести в порядок свои дела.

Они шли по берегу, и следы от ног их в песке тут же наполнялись темной водой.

Грибоедов снял очки и стал протирать стекла платком.

— Познакомился я с Бестужевым, — близоруко щуря покрасневшие глаза, сказал он.

— С моряком или издателем «Полярной звезды»?

— С литератором Марлинским. Любопытная личность... Умен, на язык остер, с дамами ловок, да и в статьях своих отличается бойким литературным слогом.

— Встречал и я его, но близко незнаком, — заметил Одоевский.

— Пожалуй, и не стоит знакомиться.

— Почему же? — Одоевский удивленно смотрел на двоюродного брата. — Ты только что сказал, Александр, что...

— И еще скажу, что человек он интересный. Одна-

ко... — Грибоедов замялся. — Оставим до времени этот разговор. Ты, Саша, слишком молод еще и горяч, и не во всем следуешь голосу рассудка.

Грибоедов боялся за своего брата.

Тот слишком многого не знал...

5

В октябре Одоевский написал в Москву сердитое письмо.

Володя, кажется, вполне запутался в тенетах любомудрия, в шеллингианстве и, будучи к Александру в большой претензии, своими нелепыми записками вызывал его на спор философический, нудный, хоть и небесполезный. Конечно, тогда Александр и не предполагал тесной связи любомудрия с русским самосознанием, и потому тон письма, выразившего его философские взгляды, был довольно резок.

«Скажи, Идолопоклонник! Не похож ли ты на какого-нибудь Тевкра, взирающего с благоговейным трепетом на золотое облако, для него не прозрачное и в котором отец и мать богов сами не ведают, что творят. Всматривайся, что ты видишь? Высокое, высокое, высокое? Восклицание за восклицанием! Но если бы пламень горел в душе твоей, то и не пробивая совершенно твердых сводов твоего черепа, нашел бы он хотя скважину, чтобы выбросить искру. Где она? Видно, ты на огне Шеллинга жаришься, а не горишь...

Я скажу все, как вижу из-под *козырька моей каски*, который однако не мешает всматриваться в тебя, потому что не нужно для этого (с вашим дозволением) считать на небе звезды. Ты еще пока в людской коже, как и не лезешь из нее.

Ты попал в болото и лежишь под целым роем немилосердно квакающих лягушек. Эй, брат! Приучишься квакать. Вытяни хоть ногу, чтобы было за что взяться и вытащить любезного Володю, которого вряд ли можно не любить и не уважать, но не за дело, а за намерения... ...весь философский лепет не столь опасен, как журнальный бред и круг писак — товарищей, полуавторов и цельных студентов.

Суесловие всегда высокопарно; но убеждает ли оно?.. Худо перенятое мудрствование отражается в твоих вечных восклицаниях и доказывает, что кафтан не по тебе.

Вместо того, чтобы дышать внешними парами, не худо было бы заняться внутренним своим созерцанием и взвесить себя... Но истинно возвышенная душа, т. е. творческая, сама себя удовлетворяющая, а потому всегда независимая, даруется свыше благословенным. Такая душа превращает и чужое в личное свое достояние, ибо архетип всего прекрасного лежит в ее глубине. Внешняя сила становится для нее одной только случайною причиною. Она везде берет свою собственность. Возвышенный ум за нею следует, но как завоеватель. Для него нужны труды высокие и поприще благородное. Иначе все, что он ни присвоит, будет казаться пристройкою лачужки к великолепному храму...

Итак, учись мыслить, но не говори, что ты достиг цели, стоящей вне круга моей жизни. Ты еще ничего не достиг. Ты едва ли еще на пути, хотя ищешь его, как кажется. Откуда же взялась такая смешная самонадеянность? *Ты старше летами,* но я — *перегнал, я старше...* чем? Душою. Но где душа? Ты как-будто ищешь ее вне себя, в философии Шел[линга], а ее не искал!

Сойди в глубину своего ума, признайся, что набросать слова звучные, нанизать несколько ниток фальшивого жемчуга, и потом, сев на курульские кресла, с важностью римского сенатора, судить человека совсем незнакомого, — весьма легко... Я знаю, что ты достоин приязни чистосердечной и всякого откровения; но обстоятельства были виной неясных твоих понятий обо мне. Когда ты видел меня? Где? Если бы ты подумал об этом, Вольдемар. Жестокая потеря (смерть матери. — *В. Я.*) унесла с собою лучшую часть моих чувств и мыслей. Я был столько же мало тверд на ногах, как человек, впервые испытавший в бурю грозное колыхание морей. Я был, как шальной. Я грустен был, я был весел, как ни бываю ни весел, ни грустен. Самая тонкая и лучшая струна лопнула в моем сердце, и ты мог думать, что ты извлек какие-либо странные звуки из этой расстроенной арфы? Как ты молод!

С тех пор я не совсем оправился, но однако начинаю ступать с некоторою доверенностию к себе. Как-то мыслю, как-то чувствую, иду, но не считаю, как ты, шагов моих, и не мерю себя вершками... Чем же ты меня так перещеголял? Внутренним бытием? — ты моего не знаешь. Печатным бытием? — я его презираю. Ты перещеголял меня самолюбием; верь!..»

Письмо это было отправлено без промедления.

Александр о нем не жалел: московский юноша стал слишком заносчив. А это не могло не вызвать у него тревоги. За последствия своего послания он не боялся. Время лечит и не такие раны...

— Не обессудьте, князь Владимир! Но уж лучше сразу и так, нежели скромно отмолчаться.

Молчание несло с собою нравственное поражение, в лучшем случае — согласие. Соглашаться же было не с чем.

— Так что не обессудьте, князь!..

6

«...Одоевский был другом Грибоедова, и мы у него познакомились с ним. Ему было с небольшим двадцать лет, он был очень красивой наружности, прекрасно образован, кроткого, доброго характера, но энтузиаст с пылким воображением... Шиллер был его любимым автором, и вообще он восхищался немецкой литературой...»

(П. Каратыгин. Записки)

В Петербурге Александр поселился в квартире на Исаакиевской площади, в доме Булатова, что на углу Почтамтской улицы. Квартира была большая — восемь комнат, занимавших целый этаж. Позволить ее себе он мог, так как родственники, ведавшие поместьем его покойной матушки, выдавали на содержание конногвардейского корнета изрядные суммы.

С Грибоедовым он виделся чуть ли не ежедневно, лишь только бывал свободен от службы. Его знаменитый брат скучал в столице. Отказавшись от мысли напечатать «Горе от ума» целиком или поставить на сцене, он жаждал увидеть хоть некоторые отрывки в печати.

— Брошу все к черту, Саша! — заезжая после очередного чтения к Одоевскому, сказал он. — К чему весь этот словесный фимиам, коли творение мое буквально задыхается в цензурных тисках.

— Не падай, Александр, духом! — утешал его конногвардеец. — Съездим к директору Особенной канцелярии, Максиму Яковлевичу Фоку. Авось разрешит...

— Нет, друг мой, в министерстве внутренних дел согласия не добьешься. Боже мой! Когда я вырвусь из этого мертвого города! Уехать бы в Париж, Италию, а через месяц-другой к берегам Колхиды!..

Надежды на разрешение комедии исчезли в нем все же не совсем. А вдруг! Доколе не благоволить к нему судьбе? Заслужил ли он это?

Но через несколько дней горькое письмо Николаю Гречу:

«Напрасно, брат, все напрасно. Я что приехал от Фока, то с помощью своею и Одоевского изорвал в клочки не только эту статью, но даже всякий писанный листок моей руки, который под рукою случился... Коли цензура ваша не пропустит ничего порядочного из моей комедии, нельзя ли вовсе не печатать? — Или пусть укажет на сомнительные места, я бы как-нибудь подделался к общепринятой глупости, урезал бы; и тогда весь 3-й акт можно поместить в альманахе...»

Грибоедов снимал квартиру в Коломенской части, в доме Погодина, стоявшем на Торговой улице. Но подолгу живал у Одоевского, где работалось ему легче и чувствовалось не так одиноко.

...Через неделю в Петербурге началось наводнение.

Предшествующей ночью не стихал пронзительный сырой ветер, в домах дрожали стекла и рамы. К утру в Екатерининском канале поднялась вода: барки с дровами выбрасывало на берег. С прохожих, еще не подозревавших о начинающейся драме, ветром срывало шляпы и фуражки.

Подвалы и нижние этажи домов стало заливать. Михайловский замок превратился в остров. На Галерной гавани тяжелыми волнами снесло две казармы, переполненные солдатами, женщинами и детьми. На Петербургской стороне и Васильевском острове сломало все заборы. Чугунный завод на Петергофской дороге залило вместе с мастеровыми и их женами. Смоленское кладбище размыло, и по улицам, к взморью, наталкиваясь на препятствия и крутясь, поплыли деревянные гробы...

Грибоедов проснулся в этот день поздно от выстрелов крепостных пушек. Подбежал к окну, а по тротуарам бешено несется вода.

Одоевский пришел с караула в крайне встревоженном состоянии. Не о себе он думал тогда: о друге и брате своем Александре, потому что хорошо знал, что тот живет на первом этаже и любит долго спать.

Бросив все, Одоевский поспешил к Коломенской части. Извозчиков не было. По Офицерской и Торговой уже катились мутные холодные волны, волоча за собой пе-

ревернутые повозки, обломки дровяных складов, вывороченные из мостовых камни, раздутые трупы коров и лошадей...

«Только бы успеть добраться!» — мелькало в его голове.

Он был в конногвардейском мундире.

Вода доходила уже до пояса. В грудь внезапно ударило бревном, Одоевский упал, и хоть тут же, чертыхнувшись, поднялся, каска потонула в воде.

Тогда он поплыл...

Увидев его, Грибоедов закричал:

— Саша, сюда!

«Помнишь, мой друг, во время наводнения, как ты плыл и тонул, чтобы добраться до меня и спасти...»

Потом они сидели под самой кровлей.

В распахнутые слуховые окна с воем врывался ветер.

— Ты простудишься. Я закрою их.

— Не надо, Александр! Послушаем, как грохочет. Говорят, на балконе дворца появлялся государь.

— Однако ж наводнение от сего не уменьшилось, — насмешливо ответил Грибоедов. — Ты-то зачем в воду полез? Я же не мальчишка.

— Но плаваешь, насколько знаю, довольно скверно, — засмеялся Одоевский.

Грибоедов ласково обнял его за мокрые плечи.

— Эх, Саша, Саша! Сильно пострадала столица, но то ли еще ждет Россию!..

А Петербург действительно был разбит стихией основательно Подсчитали убытков до двадцати миллионов рублей Погибло около полутора тысяч людей, в основном женщин и детей.

...Но время шло, город скоро принял прежний вид, о наводнении стали забывать. Одоевский с головой окунулся в привычную жизнь: смотры, караулы, салоны, балы...

Грибоедов же снова «заболел» своей комедией.

Пьесой восхищались многие.

Страна переживала такое время, когда, по свидетельству современника, будущего декабриста Александра Беляева, тайные общества мало-помалу стали ревностными поборниками революции в России. По его же словам, «либерализм стал уже достоянием каждого мало-мальски образованного человека». Этому содействовали колебания правительства между прогрессивными и реакционными мерами. Содействовали распространению сво-

бодолюбивых идей и внешние события: движение карбонариев, арест австрийским правительством итальянского писателя-революционера Сильвио Пеллико[1], революция в Испании.

Комедия Грибоедова ходила по рукам, его едкие афоризмы знали уже наизусть, широко распространены были поэмы Рылеева «Войнаровский» и «Наливайко».

В январе 1825 года в вышедшей в Петербурге книжке альманаха «Русская Талия» были напечатаны отрывки из «Горе от ума», но в столь искаженном и урезанном виде, что удовольствоваться этим Грибоедов, конечно же, не мог. Попытки поставить пьесу на сцене, даже учениками Театральной школы, не увенчались успехом: петербургский военный генерал-губернатор Милорадович наложил на представление запрет.

Оставалось единственное: распространять знаменитое сочинение переписанным от руки...

Друг Грибоедова Андрей Жандр, занимавший в департаменте морского министерства важный пост, поручил переписку писцам. А списков все не хватало.

Завладев одним из них, Александр Бестужев знакомит с комедией своих братьев и пишет о ней в критических обзорах.

Иван Пущин привез пьесу в Михайловское ссыльному Пушкину...

«К кн. Одоевскому — первые восторги после долгого несвидания. Заговорили о Пушкине. — Пишу «Слезу» под диктант князя» (запись в дневнике К. С. Сербиновича от 14 декабря 1824 г.).

Одоевский посещал петербургские театры, интерес к которым в последнее время усилился и у захандрившего было Грибоедова. Он же расшевелил и Жандра, засидевшегося в своей Военно-счетной экспедиции близ Синего моста. Жандр с удовольствием вспоминал об этом времени:

«Мы... принимали в театре самое горячее участие, мнение наше имело вес... И он (Грибоедов. — *В. Я.*) непременно втесался бы в какую-нибудь историю и непременно сидел бы в крепости, если бы не его ангел-храни-

---

[1] Пеллико Сильвио (1789—1851) — итальянский писатель-революционер, в 1820 году был арестован австрийским правительством и провел в заключении 10 лет, автор знаменитых в свое время воспоминаний «Мои темницы» (1833), переведенных на все европейские языки.



А. И. Одоевский.
Портрет работы неизвестного художника.
20-е гг. XIX в.

Невский проспект в Петербурге. Вид на Аничков дворец.

Вид Адмиралтейства. Гравюра Р. Курятникова. 1820-е гг.

Мы бросивъ бремя свѣтскихъ узъ,
Въ крылатые часы отдохновенья,
Съ беспечностью любимцевъ Музъ
Мы. Питаемъ огнь воображенья
Мечтами лестными, цвѣтами заблужденья.
И мечтавъ иногда, что я поэтъ,
И лавра требуя за плодъ забавы,
И дерзостнымъ орломъ лечу, куда зоветъ
Украшенъ Гений Славы: —
Безъ заблужденья — щастья нѣтъ.

Автограф стихотворения А. И. Одоевского из письма к В. Ф. Одоевскому от 15 октября 1821 г.

Сенатская площадь. Рис. Б. Патерсена. 1806 г.



А. С. Грибоедов.
Гравюра Н. Уткина.
1829 г.





Часовые-гвардейцы
на улице
Петербурга.



Обложка журнала «Полярная звезда».



К. Ф. Рылеев. Портрет работы О. Кипренского (?). Начало 20-х гг. XIX в.

А. А. Бестужев-Марлинский. Акварель неизвестного художника. 20-е гг.

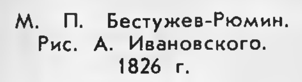




П. И. Пестель. Портрет работы неизвестного художника. Начало 20-х гг. XIX в.



С. И. Муравьев-Апостол. Портрет работы Н. Уткина. 1819 г.



М. П. Бестужев-Рюмин. Рис. А. Ивановского. 1826 г.



П. Г. Каховский. Портрет работы неизвестного художника. Начало 20-х гг. XIX в.

Восстание декабристов на Сенатской площади. Художник В. Ф. Тимм. 1853 г.

Заседание Следственной комиссии. Рис. А. Ивановского. 1826 г.

Обер-комендатура в Петропавловской крепости. Здесь происходили следствие и суд над декабристами. Фото 1946 г.

А. С. Грибоедов.
Портрет работы
Н. Крамского.





Казнь декабристов.
Работа художника
Д. Кардовского.

П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский. Фарфор завода имени М. В. Ломоносова. 1925 г.

Вид Петербурга с Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости. В кронверке крепости 13 июля 1826 года были казнены руководители восстания декабристов. Акварель неизвестного художника. 1830 г.



А. И. Одоевский в Сибири. Рис. Н. А. Бестужева.

Острог в Чите, где были заключены декабристы.



В. К. Кюхельбекер. Гравюра И. И. Матюшина. 1880-е гг.





А. И. Беляев. Акварель Н. А. Бестужева.



А. Е. Розен. Портрет работы Н. А. Бестужева.



В. П. Лихарев. Акварель Н. А. Бестужева.

М. Н. Волконская.



В. Читинском остроге. Акварель декабриста Н. П. Репина. На переднем плане А. И. Одоевский и А. Е. Розен.

тель, который так и блюл его, так и ходил за ним, — это был князь Александр Одоевский, погибший впоследствии по 14-му декабря. Боже мой! Отрадно вспомнить, что за славный, что за единственный человек был этот князь Александр Одоевский. 21 года, мужчина молодец, красавец, нравственный, как самая целомудренная девушка, прекраснейшего, мягкого характера!.. Он никогда не оставлял Грибоедова одного в театру, просто не отходил от него, как нянька, и часто утаскивал его от заманчивого подъезда силой, за руку. Почти всегда, прямо из театра, они приезжали прямо к нам, — я жил тогда с родственницей моей, Варварой Семеновной Миклашевичевой, которая любила обоих — и Одоевского, и Грибоедова — как родных сыновей, — и всегда Грибоедов, смеясь, говорил Одоевскому: «Ну, развязывай мешок, рассказывай!», потому что непременно было что-нибудь забавное...»

Куда уж забавнее! Съездив развеять тоску к князю Шаховскому, плодовитому драматургу, Грибоедов, как ни странно... влюбился. Не то чтобы очень, а все же кольнуло что-то под сердцем при виде милого личика и стройной талии Катеньки Телешовой...

Одоевский боялся за своего брата. Шутка ли — быть соперником самого генерал-губернатора Милорадовича!

— Будь осторожней, Александр! Кстати, ты знаешь, что Паскевич сделан генерал-адъютантом?

— Дошел слух, — иронически отозвался Грибоедов. — Ну как прошел ваш смотр?

— Генерал Воинов, новый корпусный командир, остался доволен. Прошли — справа по одному, на две лошади дистанции — всем полком. А затем повзводно, шагом и рысью.

— Возле дворца, где удавили предыдущего русского императора?

— Да, в манеже Михайловского замка, — искоса глянув на потемневшее вдруг лицо Грибоедова, ответил Одоевский. — Мы шли без кирас, они не были еще готовы и будут иметь почти римскую форму.

— Эх, Саша! Друг мой сердечный! — вздохнул Грибоедов. — Как молод ты еще и беспечен. Почти римскую форму, говоришь? — переспросил он и, сняв очки, рассмеялся. — Вояка!..

— А что? — Одоевский надулся, но, не выдержав, тоже звонко расхохотался.

В последнее время служба изрядно тяготила его.

Товарищ Александра по полку, корнет граф Лаваль, внезапно захандрил, начал уединяться и часто рассуждать о смерти.

— Володя, что с тобой? — спрашивал его Одоевский. — Я тебя совсем не узнаю.

— И не спрашивай! — отмахивался тот.

Учившийся в Швейцарии, воспитанный секретарем отца, либералом Карлом Воше, он постоянно рассуждал о тщете благородных начинаний в России и о ее разительных контрастах: многомиллионное богатство отца и матери, урожденной Козицкой, с одной стороны, и нищета принадлежавших их семейству двенадцати тысяч крепостных крестьян — с другой.

— Отчего так?..

Одоевский не находил сразу ответа. Подобные вопросы неоднократно приходили и к нему.

— Чем мы лучше этих несчастных, с рожденья обреченных на жалкое прозябание? — вновь спрашивал Лаваль.

— Не знаю, Владимир!

— То-то же! — Граф криво усмехался и через минуту просил: — Не сходишь ли за меня в караул? Ей-богу, неважно чувствую себя, к тому же... — он чуть смешивался, — к тому же, слишком претит мне пребывание в этом дворце, воздух коего пропитан духом разврата, деспотизма и утонченной лести.

— Ты полагаешь, мне дворцовый караул приятен? — отвечал Одоевский, но выручить друга соглашался.

Мог ли он тогда предположить, что вскоре, 20 апреля 1825 года, измученный сомнениями и тоской, Владимир Лаваль решится на самоубийство, которое неожиданностью своей и нелепостью потрясет все его семейство. Единственный сын, наследник... И долго будет помнить смерть своего младшего брата, его сестра Катрин, бывшая замужем за князем Сержем Трубецким, тем самым «неудавшимся диктатором», кого впереди ждут годы сибирского изгнания.

На донесении министра внутренних дел императору Александру I о происшедшем событии А. Х. Бенкендорф напишет, что причиной самоубийства молодого Лаваля было его «вольнодумство».

Александра смерть друга заставит о многом задуматься.

7

«В конце 1824 года познакомился я с А. А. Бестужевым. Я любил заниматься словесными науками: это нас свело...»

Свели Одоевского с Бестужевым не только науки, но и общие друзья.

Грибоедов боялся за брата. О решительном образе мыслей своих друзей он был осведомлен, сочувствовал им и знал о цели, к которой вели их замыслы, но нередко спорил о способах осуществления переворота: «Сто прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России». А возможно ли это без участия народа?..

Он боялся за Одоевского, но сделать ничего не мог. Его друзья стали друзьями и «милого Саши». Александр же был горяч, экзальтирован, воспитан на передовых идеях, душа его воспламенилась и потянулась к людям, желавшим русскому народу освобождения от многовековой кабалы: крепостного права и самодержавия. Жан-Жак Руссо, Шопен, «Молитва русского крестьянина», свободолюбивые стихи... Они воспитали в нем человека, по воле сердца шагнувшего в ряды заговорщиков.

Грибоедов не удержал брата, хоть и хотел, так как ясно представлял себе, что может последовать в случае неудачи. Много душевного подъема, жара речей — и мало конкретно разработанной тактики, реального понимания вещей.

Итак, Александр загорелся.

— Ты наш! — сказал ему Бестужев и ввел в свой круг.

«Князь Одоевский. Принят мною с прошедшей зимы; но по пылкости своей сошелся более с Рылеевым и очень ревностно взялся за дело».

«...находясь с А. Бестужевым, был им склонен войти в общество тайное, — позже признавался Александр. — Намерение оного было дать государству Конституцию, которая была написана Рылеевым и Оболенским. Я оную не читал».

С Рылеевым Одоевский сошелся не случайно.

Известный в России поэт привлекал к себе людей страстностью натуры и революционным темпераментом.

— Цель нашего общества, князь, — сказал он, — есть истребление всей императорской фамилии и водворение правления народного. Но мы должны объединиться с

Южным обществом, во главе которого стоит полковник Пестель. Имеющиеся разногласия в вопросах о форме правления, об основных социальных реформах решим после победы революции...

Такого Александр не слышал еще ни от кого. Но справедливость и силу сказанных слов оценил сразу.

Рылеев читал ему свои думы, целью которых, по его словам, было «распространить между простым народом нашим... хотя некоторые познания о знаменитых деяниях предков, заставить его гордиться славным своим происхождением и еще более любить родину свою».

Он приглашал своего юного друга на заседания Вольного общества любителей российской словесности, где Александр познакомился с Дельвигом и Боратынским, Корниловичем и Николаем Бестужевым...

Бывал Одоевский и на «русских завтраках» своего нового друга.

Рылеев жил тогда на первом этаже принадлежавшего Российско-Американской компании дома, на набережной Мойки.

Огромный стол, заваленный газетами и журналами, обставлялся хозяином следующим образом: графин вина, ржаной хлеб и несколько кочанов кислой капусты.

— Прошу попробовать народной пищи! — восклицал он, приглашая к столу собравшихся.

А людей здесь перебывало очень много.

Завывая, пел свои гекзаметры одноглазый Гнедич.

Читал стихи знаменитого брата Левушка Пушкин.

Заикаясь, бормотал трагические сцены поручик Яков Ростовцев.

Вяло дремал в углу Антон Дельвиг.

Александр Грибоедов, насмешливо косясь на возбужденно носившегося по комнате Одоевского, с увлечением рассказывал о Персии.

Их тезка, Бестужев, положив ноги на стул, сочинял экспромты или негромко затягивал подблюдные песни, написанные им вместе с Рылеевым:

Как идет кузнец да из кузницы,
　　Слава!
Что несет кузнец? Да три ножика.
　　Слава!
Вот уж первый-то нож — на злодеев-вельмож.
　　Слава!
А другой-то нож — на попов, на святош.
　　Слава!

А молитву сотворя — третий нож на царя.
Слава!
Кому вынется, тому сбудется.
Слава!
Кому сбудется, не минуется.
Слава!

По вечерам собирался и более интимный круг приятелей. Семья Рылеева находилась в деревне, и никто не мешал им вести разговоры, вовсе не для слуха рядовых обывателей и тем более правительства.

Барон В. И. Штейнгель, живший этажом выше, братья Бестужевы, знаток Нового Света морской офицер Д. И. Завалишин, Петр Каховский, князь Евгений Оболенский...

Поначалу Одоевский не слишком разбирался в идеологии и тактике заговорщиков. Его увлекал сам порыв, революционный дух, стремление к благу отечества, к освобождению многострадального русского народа от тирании и крепостной зависимости. Вновь зазвенела в Александре долго молчавшая поэтическая струна: он стал писать стихи, проникнутые свободолюбивыми идеями.

К большому сожалению, до нас они не дошли.

Сохранилось лишь несколько свидетельств о них современников Одоевского.

Д. И. Завалишин в своем очерке о декабристах упоминал, что Александр сочинил какой-то «дифирамб на наводнение 1824 года в Петербурге, изъявляя сожаление, зачем оно не поглотило все царское семейство, наделяя его при этом самыми язвительными эпитетами».

После ареста в кармане Сергея Трубецкого было найдено стихотворение «Безжизненный град» за подписью поэта М. П. Загорского, умершего годом ранее, стихотворение, ярко рисующее бездушность и казенность северной столицы.

«Кто такой Загорский, коего стихи «Безжизненный град» и проч. были при вас?» — спросили у князя в Следственном комитете. «Загорский был сочинитель комедий, — отвечал арестованный, — брат его служил в Семеновском полку; вот все, что я о нем знаю; к обществу он не принадлежал. Но Рылеев, который дал мне их для прочтения, сказал, что так как он уже умер, то это сделано для скрытия настоящего имени, а стихи писал Конногвардейского полка князь Одоевский!»

По приказу императора они были сожжены.

А ведь стихи за подписью «Загорский» довольно часто печатались в журналах и альманахах того времени!

К тому же Одоевский, по собственному признанию, презирая «печатное бытие», рвал и жег свои произведения. И это объяснить можно лишь большой требовательностью к себе.

Однако именно в это время в «Сыне Отечества» появилась его критическая статья: «О трагедии «Венцеслав», соч. Ротру, переделанной Жандром». Андрей Андреевич Жандр перевел «Венцеслава» вольными стихами. Первое действие пятиактной трагедии французского драматурга семнадцатого века было напечатано в «Русской Талии» за 1825 год.

О переводе с похвалой отозвались Грибоедов и Катенин, да и Александр Пушкин позже писал в предисловии к «Борису Годунову»: «Стих, употребленный мною (пятистопный ямб), принят обыкновенно англичанами и немцами. У нас первый пример оному находим мы, кажется, в «Аргивянах». А. Жандр в отрывке своей прекрасной трагедии писанной стихами вольными преимущественно употребляет его».

Высоко оценил труд своего старшего друга и Одоевский:

«Одно только действие помещено в «Русской Талии». Здесь подлинник остался почти неизменным; но и тут найдут важную перемену. Самый смелый вольный метр заступил место натянутого и надутого шестистопного стиха ямбического, которым никто из наших стихотворцев не владел и не владеет совершенно. Литераторы, одаренные здравым вкусом, никогда не почитали сей меры приличною для трагедии...»

Через много лет, находясь на поселении в Сибири, Вильгельм Кюхельбекер, перечитав эту статью, так отзовется о ней в своем дневнике:

«Статья Одоевского о «Венцеславе» всем хороша; только напрасно он Жандру приписывает первое у нас употребление белых ямбов в поэзии драматической: за год до «Русской Талии» были напечатаны: «Орлеанская дева» Жуковского и первое действие «Аргивян».

Весна 1825 года была в самом разгаре.

Квартира Одоевского стала одним из центров, где собирались будущие декабристы. Здесь подолгу живал Александр Грибоедов,

Об этом вспоминает Дмитрий Завалишин:

«Еще чаще виделся я с Грибоедовым у Александра Ивановича Одоевского, у которого Грибоедов даже жил... или, по крайней мере, часто просиживал подолгу, потому что мне нередко случалось, заходя по делам к Одоевскому, рано утром, и иногда притом и по два дня сряду заставать за утренним чаем и Грибоедова вовсе еще не одетого, а в утреннем костюме...»

Весной 1825 года «литературные деятели (Северного тайного общества) захотели воспользоваться предстоящими отпусками офицеров для распространения в рукописи комедии Грибоедова «Горе от ума», не надеясь никаким образом на дозволение напечатать ее. Несколько дней сряду собирались у Одоевского, у которого жил Грибоедов, чтобы в несколько рук списывать комедию под диктовку».

На этой же квартире обсуждались дела тайного общества.

Рылеев мечтал о «будущем усовершенствовании рода человеческого».

Одоевский и Александр Бестужев спорили и «говорили, между прочим, об России, рассуждали о пользе твердых, неизменных законов».

Каховский и Оболенский высказывались за умерщвление царствующей фамилии.

Бестужев вскоре по делам службы уехал в Москву. Через него члены общества решили снестись с Иваном Пущиным, руководившим московской управой Северного общества. В апреле в столице появился наконец Вильгельм Кюхельбекер.

Был он долговяз, порывист и первое время приводил многих в смущение излишней экзальтацией и противоречивостью суждений. Вильгельм намеревался поступить на службу. А это было делом нелегким, так как, прославившись своими передовыми лекциями во Франции, он находился на сильном подозрении у правительства. После некоторых усилий удалось пристроить его к Гречу и Булгарину.

За прошедшие годы Кюхельбекер ничуть не остепенился. Не успел приехать, как...

«Вильгельм третьего дни разбудил меня в четвертом часу ночи, — писал Грибоедов Степану Бегичеву, — я уже засыпал глубоким сном; на другой день — поутру в седьмом; оба раза испугал меня до смерти и извинялся

до бесконечности. Но дело *не шуточное!!!* побранился с Львом Пушкиным, хочет драться; вероятно я их примирю, или сами уймутся. Узнаешь ли ты нашего неугомонного рыцаря?..»

Помирить их Грибоедову, конечно же, удалось.

Правда, не без помощи друзей.

Друзья любили «необузданно вспыльчивого» Кюхельбекера, «человека замечательного».

«Что за прелестный человек, этот Кюхельбекер!.. — восклицал в письме Рылеев. — Как он молод и свеж!»

Другой его современник, Евгений Боратынский, оставил нам, пожалуй, лучший портрет своего товарища:

«Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака (Руссо. — *В. Я.*): та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей, и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести в жертву; человек, вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия».

Позже Вильгельм поселился с Одоевским.

«Кюхельбекер был болен и занимал сырую комнату. По обширности моей я предложил ему у себя комнату, и он в предпрошедшем месяце переехал ко мне».

Жили они дружно: их сближали литературные интересы, политические взгляды, общий круг друзей. Слуга Кюхельбекера Семен Балашов рассказывал, что, живя у Одоевского, барин «с утра до первого и второго часа занимался сочинениями, потом уходил и возвращался в квартиру часу в первом или втором ночи».

Лев Пушкин служил в департаменте духовных дел министерства народного просвещения под началом Константина Сербиновича. К службе он относился с прохладцей: опаздывал, а то и вовсе не являлся на дежурства, переписывая бумаги, пропускал целые листы... Отсюда неприятности, столкновения с начальником канцелярии Карташевским, даже с самим министром, адмиралом Шишковым.

Будущее не сулило Пушкину ничего хорошего.

Сербинович внешне недовольства своего не показывал (как же, брат самого Пушкина!), но Левушка хандрил, бывал вспыльчив, подумывал об отставке...

«Ради бога, погоди в рассуждении отставки. М. б. тебя притесняют без ведома царя, — писал ему из Михайловского опальный поэт. — Просьбу твою могут почесть следствием моего внушения etc, etc, etc. — Погоди хоть Дельвига».

Дельвиг же, посетив своего ссыльного друга и вернувшись в Петербург, сам не являлся на службу до тех пор, пока разгневанный директор Публичной библиотеки Оленин не потребовал от него подать просьбу об увольнении в трехдневный срок.

Помирившись, Лев Пушкин и Кюхельбекер остались друзьями.

Одоевский дружил с обоими, но более всего сошелся с другом своего двоюродного брата Владимира — Кюхельбекером. Вильгельм был истинный поэт в душе, часто печатался, особенно в детище своем «Мнемозине», которой отдавал всю свою кипучую энергию. К Александру он привязался, называл его «человеком истинно просвещенным... с богатой и теплой душой», требовал от него стихов для журнала.

Последние дни Одоевский ходил расстроенный. От отца долго не было вестей, а отпуска пока не давали. Грибоедов уезжал из Петербурга, уезжал на Кавказ к Ермолову... Когда еще придется свидеться с ним!

Перед отъездом Грибоедов наносил прощальные визиты, о чем-то долго беседовал с Рылеевым. Одоевский устроил последний вечер.

С лица Грибоедова не сходила грустная улыбка.

— Будь осторожен, Саша! Не слишком увлекайся, — сказал он, ибо знал о своем брате то, чего не знали даже родные.

Одоевский обнял его.

Уехал Грибоедов утром...

За заставой обернулся — город тонул в густом утреннем тумане, лишь смутно светился шпиль Петропавловской крепости.

— Благослови и сбереги друзей моих, столица! — попросил он.

8

«Князя Одоевского я часто видел во всех собраниях литераторов и еще чаще в его укромном жилище. Он был дружен с моим братом Александром».

(Михаил Бестужев)

В Петербург вернулась из деревни жена Рылеева Наталья, и Александру Бестужеву пришлось срочно подыскивать себе квартиру. Он переселился к Одоевскому. Они еще более подружились.

— Столько комнат пустует, — сказал Александр своему другу. — По утрам дядька не всегда меня находит: то здесь я, то там. Живи когда и сколько хочешь. Вдвоем веселей.

— Но предупреждаю — гостям отбою не будет!

— Кажется, всех твоих гостей я уже знаю, — улыбнулся Одоевский.

— Ой ли! — загадочно ответил Бестужев. — Кстати, скоро предстоит нам поездка к морякам. Будь готов к ней.

К. Ф. Рылеев — Д. И. Завалишину:

«(Петербург, 2 июня 1825 г.)

Большинство голосов решило ехать в Кронштадт сегодня вечером в пять часов. Итак, если Вы не раздумали, приготовьтесь; между тем, князь Одоевский просит Вас сегодня же в три часа к нему на обед. Приезжайте ко мне, мы отправимся вместе. Если же опоздаете, то спросите у моего человека о квартире Одоевского. Она на углу, против церкви Исаакия, в доме генеральши Булатовой, недалеко от Конногвардейского манежа».

У Одоевского сидел Кюхельбекер и пил холодный квас.

— Ты уже готов? — с порога спросил Рылеев.

Вильгельм утвердительно кивнул. Увидев входившего в комнату Завалишина, он иронично заметил:

— Только вряд ли сия миссия окончится успехом. Брат Миша в том очень сомневается.

Рылеев бросил на него сердитый взгляд.

— Господа! — сказал он. — Времени осталось мало. Необходимо сейчас же решить: едем мы сегодня в Кронштадт или нет.

— Раз уж собрались!

— Будет ли прок? — меланхолично пробормотал Бестужев.

— Я неоднократно говорил твоему старшему брату, — покосившись в его сторону, сказал Рылеев, — что он со-

ясем не старается о приобретении в члены общества морских офицеров. Представьте себе, господа! Кронштадт — отдаленное и крепкое место — в случае неудачи мог бы служить нам тем же, чем был остров Леон для гишпанцев.

— Однако, Кондратий, и Николай, и капитан Торсон лучше нас знают о действительном положении Кронштадта после злополучного ноябрьского наводнения, — возразил Бестужев.

Остров Леон из Кронштадта не получался. Форт был мало приготовлен к обороне, в подвалах плескалась гнилая вода, многие офицеры проводили время за картами и пивным столом.

В гостинице, где они заночевали, гуляли сырые сквозняки.

Пробыв на острове один день и убедившись в бесплодности своей затеи, Рылеев с друзьями уехал.

Одоевский вернулся на свою квартиру с Вильгельмом. Бестужев укатил куда-то в гости.

— О чем ты, Виля, хотел поговорить со мной? — не переодеваясь, спросил Александр. — Посмотри на себя в зеркало.

— А-а! — сердито махнул рукой Кюхельбекер. — Будешь моим секундантом?

— Ого! — изумился Одоевский. — Когда же ты успел?

— Не сегодня. Просто молчал, ты всюду с друзьями, а хотелось бы наедине.

— Кого ты собираешься вызвать?

— Греча и... и Булгарина в придачу! — Вильгельм растрепал рукой волосы на голове и, вихляясь длинным нескладным туловищем, забегал по комнате.

Потом остановился.

— Или морды им набить? И так осточертело мне с ним служить, еще с братом твоим поссорить хотят.

— С Володей?

— Да.

Взяв Вильгельма за плечи, Одоевский усадил его на диван.

— Рассказывай!

Оказывается, через Николая Греча, которому по своей наивности Кюхельбекер доверил 4-ю книжку «Мнемозины» еще до выхода ее в свет, она попала в руки Фаддея Булгарина. Тот, издавна не любивший московских издателей, успел тиснуть в 10-й книжке своего журнала

«утопию»: «Невероятные небылицы, или Путешествие к средоточию земли», где жестоко высмеял «великих любомудров», а также «гусляра-философа», за коим определенно угадывался Владимир Одоевский...

Взбешенный предательством, Вильгельм наговорил обоим журналистам кучу дерзостей.

— Как быть, Саша? Володя прислал мне сердитое письмо.

— Успокойся, я тотчас же напишу ему, объясню все. Он поймет.

9

В Киеве Грибоедов появился в начале июня. После десятого числа он, не простясь, неожиданно уехал.

Что произошло с ним за эти десять дней? С кем виделся он?..

Оповещенный о приезде Грибоедова, один из руководителей Васильковской управы Южного общества, Михаил Бестужев-Рюмин, срочно вызывает из Василькова главу управы Сергея Муравьева-Апостола. В Киеве же находится дежурный офицер 4-го пехотного корпуса Сергей Трубецкой, ратовавший за объединение Северного и Южного обществ, минуя Пестеля. И еще два активных члена общества в городе: Артамон Муравьев и Матвей Муравьев-Апостол.

Встреча их со знаменитым драматургом состоялась. И не одна...

Но что обсуждалось на них?..

Для чего членам тайных обществ было так необходимо свидание с Грибоедовым, которому они верили и которого, безусловно, считали своим?

И Бестужев-Рюмин, и Артамон Муравьев, и Сергей Муравьев-Апостол на следствии вопрос о киевских встречах с Грибоедовым запутали настолько, что картина обрисовалась очень противоречивая...

Но главное для нас в другом: чего хотели от Грибоедова южные декабристы и почему столь резко наступило между ними охлаждение?

Тщательно анализируя следственные дела их и Грибоедова, академик М. В. Нечкина пришла к выводу, что «целью киевских свиданий было вовсе не принятие Грибоедова в члены общества... Очевидно, речь шла о каком-то важном и спешном для Васильковской управы *пору-*

чении, неотложном деле, в котором должен был принять участие Грибоедов. Дело это явно связано с Ермоловым. Переговоры были резко порваны — Грибоедов, не простясь, уехал...»

Закономерный вопрос: «Что же случилось и какое именно поручение ему хотели дать?»

Между руководителем Южного общества Пестелем и Васильковской управой шла в то время внутренняя борьба. Сергей Муравьев требовал скорейшего выступления, доказывая другим членам, что, «оставаясь в бездейственности... они сим умножают лишь опасности, на каждом шаге нам угрожающие».

И тогда возник «белоцерковский план».

В конце лета 1825 года предполагался высочайший смотр 3-го корпуса. Считали, что император остановится в Белой церкви — имении графини Браницкой. Там-то и хотели «произвести возмущение» Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин: «захватить» императора, «нанести ему удар», далее следовать 3-м корпусом на Киев и Москву...

Пестель возражал против этого плана, считая, что революция возможна лишь при условии, если начнется она в Петербурге.

Васильковская управа, несмотря ни на что, брала инициативу в выступлении на себя. И тут вставал новый, очень важный вопрос: как поведет себя в данной ситуации Ермолов, — останется ли верным царю, или перейдет со своим мощным кавказским корпусом на сторону революции?..

Потому-то Грибоедов, пользовавшийся доверием кавказского наместника, должен был, видимо, сыграть роль своеобразного посредника между ним и Васильковской управой.

О чем говорили Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев и другие на свидании с Грибоедовым — можно только предположить. Не в Киеве ли сказал драматург свою знаменитую фразу: «Сто прапорщиков хотят переменить весь государственный быт России»?

Любопытно, что почти пять лет спустя при известии о польском восстании князь Вяземский признается подобным же образом: «Худо их (поляков) понимаю. Прапорщики не делают революции, а разве производят частный бунт».

Случайность ли это?

Правительство было уже предупреждено о существо-

вании тайных обществ: уже действовал Бошняк, в июле 1825 года последовал донос унтер-офицера Шервуда, 13 августа — донос графа Витта...

Царский смотр отменили. Над деятелями тайных обществ сгустились тучи...

И тут Грибоедов, едущий на службу к Ермолову.

Договориться с ним члены Васильковской управы не смогли. Слишком велики, видно, оказались расхождения. И Грибоедов желал изменения существующего строя, но не сомневался ли он в декабристской тактике: военный переворот без участия народа?..

«Декабристам на Сенатской площади не хватало народа», — позже произнесет Александр Герцен. Не предвидел ли это Грибоедов, много размышлявший в последнее время о роли народа в истории?

...Из Киева Грибоедов выехал в скверном расположении духа. Тамошние встречи оставили горький осадок в его душе. Но и о многом заставили задуматься.

Мысли его кружились вокруг Киева, Петербурга. И постоянно возвращались к Одоевскому. Мало времени провели вместе Грибоедов и Одоевский, но духовная связь их была очень крепка, и значили они друг для друга очень много.

«...брат Александр мой питомец, l'enfant de mon choix...»[1], — писал Грибоедов Владимиру Одоевскому. О брате и питомце своем он думал неустанно. Так же и он, и судьба его постоянно занимали мысли Александра Одоевского.

В Крыму Грибоедов «объехал часть южную и восточную полуострова».

Однако нужно было спешить на Кавказ к Ермолову. При мысли о нем всплывали в его сознании и Киев, и жар свободолюбивых речей, и горькие укоры...

И тут же мысль о Саше Одоевском. Что ждет его? Уж точно — ничего хорошего. Атмосфера накаляется, Россия на грани взрыва... Куда только щепы полетят? И полетят ли? Быть может, сразу под корень?!. Ах, Саша, дитя моего выбора!..

«Александр Одоевский будет в Москве: поручаю его твоему дружескому расположению, как самого себя. — Помнишь ли ты меня, каков я был до отъезда в Персию, таков он совершенно плюс множество прекрасных ка-

---

[1] Дитя моего выбора *(франц.)*.

честь, которых я никогда не имел», — писал Грибоедов другу.

В октябре Грибоедов появился у генерала Ермолова. Ипохондрия оставила его.

Но напряжение не спало: что там в Петербурге? Как Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер?.. Что с Сашей Одоевским? Не остепенился ли? Хотя такую горячую голову остудит лишь...

Но не дай бог!

Не дай!..

10

«1825 года в июле месяце был принят в тайное общество Одоевским».

(Из показаний А. Е. Ринкевича)

«Для совещаний собирались иногда и у К[нязя] Одоевского».

(Из показаний П. Г. Каховского)

Александра Ринкевича Одоевский действительно принял в общество. Они были однополчанами, ровесниками, друзьями и во всем доверяли друг другу.

— Существует общество, Саша, желающее распространить вольнолюбивые мысли.

— Но они и так буквально носятся в воздухе.

— Сами по себе они пустяки. Цель наша — искоренить деспотизм, переменить правительство, дать стране конституцию.

— Но готова ли к тому Россия?

Одоевский задумался.

— Правду говоря, я и сам считаю, что мы еще не в таком положении, чтобы иметь конституцию. Но среди нас есть люди и порешительней, стремящиеся добиться цели как можно скорее.

В конце августа в Петергофе состоялись конные состязания, о которых долго потом не стихали разговоры в столице.

«О празднике Петергофском и скачке, доставляю вам газеты, — писал матери Александр Бестужев, — никто не думал, чтобы национальный дух был в нас так силен. Я из патриотизму проиграл заклад, Рылеев тоже. Каждый по 100. В публике была такая грусть, будто сражение проиграно, но сами виноваты — никаких предосторожностей взято не было...»

Одоевский присутствовал на этих состязаниях и, к своему удивлению, тоже расстроился, когда вырвавшийся вперед донской конь внезапно упал у финиша. Англичане выиграли скачку...

Петербургское общество приняло это событие чуть ли не как национальное поражение.

— Что будет теперь с бедной лошадью! — смеялся Рылеев. — Пожалуй, в Сибирь отправят.

А вскоре Петербург потрясло событие другого рода.

«Вчера утром был у нас на Выборгской стороне поединок, — одиннадцатого сентября 1825 года сообщал литератор и издатель А. Е. Измайлов своему племяннику П. Л. Яковлеву, бывшему однокашнику Пушкина по лицею. — Какой-то Чернов вызвал на дуэль флигель-адъютанта Новосильцова за то, что он отказался жениться на его сестре...»

Предыстория этой не совсем обычной дуэли, получившей общественное звучание, такова.

Подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Константин Пахомович Чернов, двоюродный брат Рылеева, человек незаурядный, даровитый, увлекался литературой, писал публицистические «замечания» и «выписки» и, по словам декабриста Д. И. Завалишина, был «не бездельной опорой» тайного общества (Северного. — *В. Я.*).

Их было несколько братьев и одна сестра. Отец Черновых — старый боевой генерал происходил из небогатой и незнатной фамилии. Жена его и мать Рылеева приходились друг другу родными сестрами.

Знатный и богатый флигель-адъютант Владимир Новосильцев считался женихом единственной дочери генерала Чернова. Но под нажимом матери он стал уклоняться от женитьбы.

После решительного объяснения Константин Чернов вызвал его на дуэль.

— Погибнет старший сын, стреляться будет следующий, и так далее... — заявил оскорбленный генерал.

На дуэли, кроме секундантов — подпоручика Рылеева, полковника Германа, ротмистра Реада и подпоручика Шипова, — было еще человек сорок-пятьдесят. Присутствовали при этом и однополчане Чернова...

«Оба были юноши с небольшим двадцать лет, но каждый из них был поставлен на двух почти противоположных ступенях общества, — вспоминал Е. П. Оболенский. — Новосильцев, потомок Орловых, по богат-

ству, родству и связям принадлежал к высшей аристократии. Чернов, сын бедной помещицы Аграфены Ивановны Черновой, жившей вблизи села Рожествена, в маленькой, принадлежавшей ей деревушке, принадлежал к разряду тех офицеров, которые, получив образование в кадетском корпусе, выходят в армию. Переводом своим в гвардию он был обязан новому составу л.-гв. Семеновского полка».

На дуэли противники тяжело ранили друг друга. Столичное общество разделилось на два враждебных лагеря. Скончавшегося через несколько дней Новосильцева провожала вся петербургская знать.

Двадцать шестого сентября состоялись похороны Константина Чернова.

«Ты, я думаю, слышал уже о великолепных похоронах Чернова, — писал М. Н. Загоскину В. И. Штейнгель. — Они были в каком-то новом, доселе небывалом духе общественности. Более двухсот карет провожало: поэтому суди о числе провожавших пешком...»

Предсмертная записка Чернова написана рукой Александра Бестужева:

«Стреляюсь на три шага, как за дело семейственное; ибо, зная братьев моих, хочу окончить собою на нем, на этом оскорбителе моего семейства, который для пустых толков еще пустейших людей преступил все законы чести, общества. Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы и золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души».

Одоевский шел за гробом вместе со своими товарищами.

Был с ними и Евгений Оболенский...

«Трудно сказать, какое множество провожало гроб до Смоленского кладбища; все, что мыслило, чувствовало, соединилось тут в безмолвной процессии и безмолвно выражало сочувствие тому, кто собою выразил идею общую, которую всякий сознавал и сознательно и бессознательно: защиту слабых против сильного, скромного против гордого».

На могиле своего товарища Вильгельм Кюхельбекер, несмотря на решительные протесты Завалишина, пытался прочесть стихи, только что сочиненные им:

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,

Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым.
Нет! не отечества сыны —
Питомцы пришлецов презренных!
Мне чужды их семей надменных,
Они от нас отчуждены.

Там говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь;
Я ненавижу их, клянусь,
Клянусь и честью и Черновым!..

Вильгельм Кюхельбекер, служивший у Греча, и жил в то время у него: на углу Невского проспекта и Большой Морской, в доме купца Косиковского.

С Рылеевым Одоевский и Кюхельбекер виделись чуть ли не ежедневно.

Он свел их с Гавриилом Батеньковым, с которым познакомился на обедах у Прокофьева, директора Российско-Американской компании.

— Кондратий так неосторожен, — отозвался о Рылееве Батеньков. — Выступать средь незнакомых людей с резкой критикой существующего порядка решится не каждый. Но зато какая яркая, пламенная душа!

Вскоре на совещании у Рылеева приехавший из Киева полковник Сергей Трубецкой сообщил о «совершенной готовности» Южного общества к вооруженному восстанию.

— Надо и нам поторопиться! — услышав об этом, порывисто воскликнул Кюхельбекер.

Совсем недавно Рылеев принял его в Северное общество.

К сообщению князя Трубецкого Николай Бестужев отнесся довольно скептически. Откуда столько восторга у этого сторонника умеренных мер? На его взгляд, дела на юге обстояли значительно сложнее, чем это представляется полковнику.

Своими сомнениями он поделился с Рылеевым...

Одоевский слушал их молча, но сердце его ликовало. «Неужли скоро начнем? Ах, как славно умрем за Родину!..»

На днях он уезжал в отпуск в родные места. Отец слал ему сердитые письма и звал к себе. Пора собираться. Однако... Не так просто покинуть сейчас Петербург. Причина тому — дела, да и женщина, ласковая и прекрасная, но, увы, любовь к которой ему приходилось

тщательно скрывать даже от друзей. Она была замужем и имела детей.

Лишь Грибоедову он в письмах открылся. Лишь ему доверил свое сердце, внезапно возмечтавшее о настоящей любви. В столь неподходящее время...

«Сделай милость, объяви мне искренно или вы лучше скажите мне, милый друг Варвара Семеновна, — писал Жандру и Миклашевич встревоженный письмом Одоевского Грибоедов, — отчего наш Александр так страстно отзывается мне о В. Н. Т. ...Ночью сидит у ней, и оттудова ко мне пишет, когда уже все дети спать улеглись... Не давайте ему слишком увлекаться этой дружбою, я по себе знаю, как оно бывает опасно. Но может быть я гадкими своими сомнениями оскорблю и ее, и Александра. Виноват, мне простительно в других предполагать несколько той слабости, которая испортила мне полжизни. Точно это вздор, она его гораздо старее, ни с чем не сообразно, и вы утаите эту статью от нашего друга, кстати он теперь в Москве, по возвращении ради бога ему не показывайте. Не хочу от вас скрывать моих пятен, чтобы одним махом уничтожить всю эту подлость. Прощайте, милые мои бесценные существа. Какое у вас движение в Петербурге!! — А здесь... Подождем. Варвара Семеновна, понуждайте нашего ленивца, чтобы не отставал от Одоевского, я перед вами на колена становлюсь. Пишите к дальнему другу и родственнику вашего избрания. Сто раз благодарю вас, что нянчите Вильгельма, чур не заглядываться, тотчас треснется головой об пол...»

Имя этой женщины до нас не дошло.

Письмо свое Грибоедов написал, не зная, что в Петербурге идет лихорадочная подготовка к восстанию, но догадываясь о том.

Пока же на дворе стоял ноябрь, и Александр Одоевский, получив наконец отпуск, спешно покидал столицу.

Прощальные слова, прощальные объятия, и, миновав московскую заставу, покатила коляска по широкой дороге в первопрестольную.

В последний раз!..

11

Из северной столицы Одоевский выехал с плохим настроением.

Погода была под стать: дождь лил не переставая, до-

роги развезло, тяжелые отсыревшие колеса увязали в грязи...

Лошади шли с трудом, храпя и косясь на слабо темнеющий по сторонам лес, на полузаброшенные погосты.

Одоевский долгое время молчал.

Покрикивая на лошадей, Курицын тревожно поглядывал на барина.

— Что, Ляксандр Иванович, приуныли?

Одоевский вздрогнул и неопределенно пошевелил плечами. Уезжать из Петербурга в это время ему не хотелось. И все же...

Он нащупал за обшлагом мундира сложенную вчетверо бумагу — письмо, в котором отец сердито выговаривал ему, обвиняя сына в ветрености и легкомыслии...

«Шалостей твоих дух весьма мне противен. И Дмитрий Сергеевич крайне оным огорчается. В сыне родном баламута открыть — сердцу отцовскому боль. Вижу, от наставлений моих ты вовсе прочь ушел. Далеко поехал, кабы поблизости под запор не взяли. Эх, сын Александр! Роду ты великого, а в уме невелик. Горечь и гнев отцовскую душу гноит. По просьбе моей, отпускает тебя начальство на побывку домой. Мой же приказ таков: получай по всей форме отпуск и немедля выезжай из Сан-Петербурга. Сам хочу видеть, каков сын мой сделался...»

Вспомнив знакомые размашистые строки, Одоевский вздохнул. Потом повернулся к дядьке.

— Слушай, Никита! Уж не ты ли нажаловался на меня отцу? — щуря потемневшие от внезапной догадки глаза, спросил он.

Дядька напрягся, лица не повернул, но крепкая шея его густо порозовела.

— Ну конечно! — укоризненно пробормотал Александр и огорченно махнул рукой. — Эх ты, доносчик!

— Никак-с нет! — возмущенно взвился на облучке Курицын. — Не извольте гневаться! Их сиятельство, Иван Сергеевич, с меня отчета будет требовать. Как и почему? А что происходит с вашего, можно сказать, позволения? В доме, кроме Ляксандра Сергеича, завсегда повесы разные, горячие головы и разговоры супротив порядка. Голова моя седеет от их ужасных речей. Уж вы не серчайте! Коли мне велели и наказали...

— Наказали! — миролюбиво проворчал Одоевский. — Поди теперь поговори с отцом.

Заночевали на почтовой станции.

Выпили на ночь горячего чая. Тощий чахоточный старик смотритель постелил Александру на широкой лавке и, почесывая редкую бороденку, ушел в другую комнату.

Дядька Курицын расположился на полу, поворочался, покряхтел и минут через десять притих.

Одоевский не спал. Неуютно чувствовал он себя последние дни. События, казавшиеся ранее далекими, неотвратимо надвигались...

В Москве он ненадолго задержался, чтобы повидаться с братом Владимиром... «Вверься ему, т. е. брату Александру, — писал Вильгельм, — это человек, который для тебя все сделает. Он и лучше доскажет то, что не умею выразить, как бы хотел...»

Впрочем, брату можно было и не представлять его!

Москва показалась Одоевскому сонным купеческим городом. На золоченых крестах церквей угрюмо сидели стаи жирных галок.

«Дремота кругом, тишь, — недовольно подумал он. — То ли происходит сейчас у нас!»

Володя жил в Газетном переулке, в доме Ланской. Он был не один.

— Знакомься, Александр, мои друзья!..

Всех их он не запомнил. Однако по их оживлению и вопросам касательно немецкой философии и поэзии, Гёте и Шеллинга понял, что это и есть «архивные юноши», утонувшие в дебрях «любомудрия». Здесь он окончательно укрепился во мнении, что прав был, написав когда-то Володе резкое письмо.

Отвечал он им легко, разбивая их доводы, приводя в смущение смелостью и остротой суждений. Один юноша привлек его внимание грустным, задумчивым взглядом и оригинальным мышлением, за которым угадывалась натура необычайно развитая и сложная. Кажется, то был Дмитрий Веневитинов, о нем вспомнит он через десять лет в далекой Сибири.

Поговорили и о грибоедовской комедии, список которой находился у Володи...

Расстался Александр с братом несколько принужденно. Оба прекрасно почувствовали, что в своих взглядах на многие предметы расходятся они все дальше и дальше.

— Желаю более трезво посмотреть на жизнь, Вольдемар!

— А тебе, Александр, не слишком увлекаться политикой!..

Из Москвы Одоевский ехал Владимирским трактом.

Предстоящая встреча с отцом и радовала и тревожила его. Упреков он не боялся, так как знал истинную цену беспочвенным обвинениям. Никаких оправданий! Правда, и огорчений отцу он не хотел доставлять.

Николаевское показалось рано утром... Над прудами еще висел густой туман. Его любимая липа, бессильно опустив ветви, была объята рассветным сном. Дорогу перебежала дворовая собака, несмело тявкнула и тут же забилась в придорожный куст.

Дом вышел из-за поворота сразу — большой, до боли знакомый.

Спрыгнув на землю, Александр направился к воротам и внезапно увидел отца.

В длиннополой шинели, наброшенной поверх ночной рубахи, с непокрытой седой головой, он неподвижно стоял на барском крыльце, протянув Александру худые, но еще сильные руки.

— Сашенька!..

Старик прижал сына к груди, потом обернулся и громко крикнул:

— Маша! Мария!.. Молодой князь приехал!

И тотчас спавший было дом заходил ходуном: захлопали, распахиваясь, ставни, заскрипели под торопливыми шагами половицы, послышались радостные женские голоса...

— Принимай сына, Марья Степановна! — торжественно провозгласил старик.

Жена его, сонная, но уже причесанная, слабо и виновато улыбнулась Александру. Она еще стеснялась своего пасынка.

— С приездом, Саша!

— Никита! Что стоишь? Заводи лошадей! — уже во дворе распоряжался Иван Сергеевич.

Александр оглядел село, убегающие к горизонту поля, Нерль, круто петлявшую за темным перелеском, и радостно вздохнул:

«Вот я и дома!..»

Из детских всех воспоминаний
Одно во мне свежее всех;
Я в нем ищу в часы страданий
Душе младенческих утех:

Я помню липу; нераздельно
Я с нею жил; и листьев шум
Мне веял песней колыбельной,
Всей негой первых детских дум.

Она стояла и теперь — та липа, возле которой он нередко забывался в шумных детских играх, на которую лазал тайком от матушки и нянек. Она так же шумела на ветру, едва слышно шелестя ветвями...

Как ветви сладостно шептали!
Как отвечал им лепет мой!
Мы будто вместе песнь слагали
С любовью, с радостью одной...

По Нерли бежали холодные мутные волны. Ничто в родных местах не изменилось: то же по-осеннему грозовое небо, те же широкие, необъятные дали, поредевший лес...

— Саша! — услышал он за спиной голос отца. — Мы с тобой так и не договорили. Гневные тирады относительно крепостного права и деспотии — откуда все это в твоей голове? Тому ли мы с матерью учили тебя?..

— Папа! — сказал Александр. — Ты, к сожалению, живешь еще прошлым. Прочти в газетах, как бурлит Европа. Одна Россия в жалкой детской дремоте...

— Что мне Запад! — запальчиво воскликнул старый князь. — Подумай о своем будущем. К чему приведут тебя подобные мысли, тебя — князя Одоевского, потомка Рюрика? Я не потерплю позора на свою седую голову!..

Одоевский покачал головой.

Ему стало жалко отца: по-своему он, видимо, тоже был прав...

Известие о смерти в Таганроге Александра I пришло в Петербург 27 ноября. Одоевский узнал об этом раньше от проезжавшего курьера.

Спешно простившись с отцом, он тотчас выехал в Петербург. Только бы не начали без него!

В Москве он не останавливался.

В первых числах декабря он появился в Петербурге, виделся с Александром Бестужевым, возбужденно расспрашивал его о том, когда решено действовать...

Рылеев был болен, не выезжал никуда, и потому квар-

тира его превратилась в один из главных штабов, где проходили важнейшие заседания Северного общества, взбудораженного вестью о смерти российского императора.

Навестив Кондратия, Александр отметился в полку и заступил в караул. Об этих петербургских днях Одоевского до нас почти не дошло свидетельств современников.

Между тем события в Петербурге развертывались стремительно.

После смерти Александра I наследником его являлся Константин. Но, женившийся на особе нецарской крови, он еще несколько лет назад вынужден был отречься от престола.

Отречение, как и манифест Александра I, составленный на его основе, держали в тайне.

А согласно манифесту, свободное отречение великого князя Константина Павловича от права на российский престол император Александр I считал «твердым и неизменным». Акт отречения решено было сохранить до поры необнародованным в большом Успенском соборе и в трех высших правительственных местах: Святейшем Синоде, Государственном совете и Правительствующем Сенате. Наследником признавался второй великий князь — Николай Павлович.

Об этом знал лишь узкий круг близких к трону людей.

Наследником престола считали Константина. 27 ноября состоялась присяга на верность ему. В продаже появились портреты, монеты с изображением нового императора. Члены же царской семьи ждали от польского наместника нового отречения, но он с этим не спешил.

Началось междуцарствие...

Не дожидаясь формального отречения брата, Николай назначил переприсягу на 14 декабря. В правительстве и народе царила полная неразбериха.

Члены Северного тайного общества решили этим воспользоваться и выступить. Тем более стало известно о доносах Шервуда и Майбороды, а в самый последний момент и Якова Ростовцева. Рылеев, узнав о предательстве поручика, намеревался убить его.

Несмотря ни на что, по словам А. Бестужева, они «так твердо были уверены, что или мы успеем, или

умрем, что не сделали ни малейших сговоров на случай неудачи...».

Донос Я. Ростовцева имел тяжелые последствия. По всей видимости, именно из-за него присягу в гвардейских полках «учинили порознь», что «уничтожило единодушие в восстании». По той же причине Сенат присягнул новому государю в необычно раннее время, что спутало все расчеты восставших.

Квартира Рылеева стала штабом тайного общества.

План выступления был разработан следующий...

Диктатор восстания — полковник Сергей Трубецкой. В день переприсяги революционные войска выходят на Сенатскую площадь. Необходимо не допустить сенаторов до присяги, объявить правительство низложенным и выпустить Манифест к русскому народу, коим уничтожалось бы бывшее правление и учреждалось Временное революционное правительство. Крепостное право ликвидировалось: граждане становились равными перед законом; вводились свобода печати, вероисповедания, гласный суд присяжных; уничтожалась рекрутчина, вводилась всеобщая воинская повинность, организовывалась «внутренняя народная стража» и т. д. На место правительственных чиновников предполагались выборные лица...

Вести с Сенатом переговоры должны были Рылеев и Иван Пущин. В это же время гвардейский морской экипаж, Измайловский полк и конно-пионерный эскадрон захватывают Зимний дворец и арестовывают царскую семью. Затем созывается Великий Собор — Учредительное собрание, которое примет окончательное решение о формах ликвидации крепостного права, государственного устройства России и др. Великому Собору предстоит решить: быть России республикой или конституционной монархией.

Войсками, что захватывают Зимний дворец, командует Якубович, а что Петропавловскую крепость — полковник Булатов.

Каховский с согласия Рылеева намеревался убить Николая. С наступлением утра он отказался от своего замысла, не желая стать террористом-одиночкой. Затем последовал отказ Якубовича.

План рушился, но промедление грозило верной смертью.

Или — или... Другого выбора не было.

И они сделали его!

«Одоевский служил в конногвардейском полку и на 23-м году жизни был сослан со мною в Сибирь в одной категории. Не ребячество, а любовь к отечеству и стремление на развалинах деспотизма, самого самодурного, самого пагубного для общества [построить] благо России. Молодое увлечение увлекло Одоевского, подобно многим другим молодым людям...»

/Н. И. Лорер/

Тринадцатого декабря он заступил в суточное дежурство на карауле в Зимнем дворце и потому на последнем заседании у Рылеева не был.

А оно проходило очень шумно. Все присутствующие на собрании находились в каком-то лихорадочном состоянии. Тут и там слышались отчаянные слова, фантастические предложения... Рылеев, первенствующий в этот вечер, был особенно прекрасен: начал говорить путано, но лишь коснулся его разговор любви к родине, лицо его оживилось, глаза заблестели, а речь потекла плавно и горячо...

Одоевский знал об этом совещании — тревожные мысли не покидали его весь день. Что там и как?..

Зимний дворец лихорадило: ожидали великого князя Михаила, посланного в Варшаву к Константину, чье отречение только что пришло в Петербург. Государственный совет готовился к вечернему секретному заседанию. Великий князь Николай Павлович прочел на нем манифест о своем вступлении на престол вместо отрекшегося Константина.

Наступила ночь...

Утром войска должны были узнать о новом императоре и присягнуть ему. Николай Павлович эту ночь не спал: страх не покидал его... Что будет завтра? Успеет ли гвардия присягнуть? Доносы Шервуда и Майбороды, найденные в бумагах покойного Александра, давно уже дали ему понять о существовании в стране сильных тайных обществ.

И наконец последнее известие, потрясшее его, — письмо адъютанта начальника гвардейской пехоты генерала Бистрома, поручика Я. Ростовцева...

«Всемилостивейший государь!

Три дня тщетно искал я случая встретить Вас наедине, наконец, принял дерзость писать к Вам... Для Вашей

собственной славы погодите царствовать. Противу Вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге, и может быть, это зарево осветит конечную гибель России!..»

Он принял этого экзальтированного и обливающегося слезами заику-офицера, расцеловал его и написал в Таганрог начальнику штаба армии И. И. Дибичу: «Послезавтра поутру я или государь, или без дыханья...»

И вот эта страшная ночь накануне еще более страшного утра!..

Услышав грохот и звон шпор возле своей спальни, он, похолодев, вскочил и, подкравшись к дверям, осторожно приоткрыл их.

— В чем дело? — испуганно спросил он у отдававшего приказания гвардейского офицера. — Что за шум?

— Смена караула, ваше величество! — ответил тот.

— Могли бы и потише! — недовольно пробурчал Николай. — Как в Петербурге, все ли тихо?

— Так точно!

— Ваша фамилия?

— Корнет князь Одоевский!..

Николай кивнул и плотно прикрыл за собой массивные двери.

Фамилию этого дежурного офицера он еще вспомнит на следствии. И этот ночной случай повлияет на жестокость приговора князю Александру.

«Ведь мог решиться, да и...» — мелькнет ужасная мысль в голове новоиспеченного императора.

Николай не спал этой ночью... Он сознавал, чем грозит ему малейшее промедление. Не дожидаясь рассвета, он собрал во дворце командиров гвардейских полков.

Предупрежденный Ростовцевым, Николай I опередил деятелей тайного общества. Пока они лихорадочно готовились к выступлению, совещаясь и разъезжая по казармам, Сенат в 7 часов 20 минут присягнул новому императору.

Приехавший в Зимний дворец генерал-губернатор Петербурга Милорадович заверил его, что в городе все спокойно.

Но это было спокойствие перед бурей.

Перед солдатами лейб-гвардии Московского полка уже выступал с горячей речью Александр Бестужев. «Я ожидал, что кончу жизнь на штыках, не выходя из

полку, ибо мало на московцев надеялся и для того избрал это место, как нужнейшее».

Полк отказался от присяги. Командира его, барона Фредерикса, мешавшего выходу солдат из казарм, князь Щепин-Ростовский положил ударом сабли. Он же ранил и полковника Хвощинского.

Развернув знамена, с барабанным боем полк двинулся по направлению к Сенатской площади. Командовали им три гвардейских штабс-капитана: Дмитрий Щепин-Ростовский, Александр и Михаил Бестужевы...

Площадь была пуста.

Московцы выстроились в каре (боевой четырехугольник. — *В. Я.*) между Сенатом и монументом Петру I. К ним присоединился и штатский — Иван Пущин.

11 часов утра... Обстановка накалялась.

Конно-пионерный эскадрон выступить отказался.

Диктатор Трубецкой исчез.

Во дворец прибыл командующий гвардейской артиллерией «с известием, что артиллерия присягнула, но в гвардейской конной артиллерии офицеры оказали сомнение в справедливости присяги... Многие из сих офицеров до того вышли из повиновения, что генерал Сухозанет должен был их всех арестовать» (из «Записок» Николая I).

Лейб-гвардии Гренадерский полк присягнул новому императору. Члены общества поручики Сутгоф и Панов, находясь в полном неведении о сложившейся обстановке, самостоятельно действовать не решились.

Московский полк по-прежнему стоял на площади в каре...

— Ваше величество! — испуганно сообщил примчавшийся в Зимний дворец начальник штаба гвардейского корпуса генерал Нейдгарт. — Московцы в полном восстании, Шеншин и Фредерикс тяжело ранены!..

— Конной гвардии седлать лошадей! — сглотнув подступивший к горлу комок, приказал Николай. — Первому Преображенскому полку строиться на Дворцовой площади. Я поведу роту финляндцев, стоящих на карауле...

Отказался присягать Гвардейский морской экипаж.

Вышедший из дворца император пытался прочесть собравшейся толпе манифест о своем вступлении на престол.

А что же Одоевский?.. Сменившись с караула, он,

верный своему слову, пытался помешать конногвардейцам присягнуть, сказав, «чтобы они шли домой, а ему не время их вести». Но конногвардейский полк еще рано утром принял присягу.

У адмиралтейства Одоевский столкнулся с Вильгельмом Кюхельбекером, который возвращался от Рылеева, «объявившего о преднамеренном возмущении». Вдвоем они зашли на квартиру Одоевского и, взяв с собой пистолеты, направились к Рылееву. Вскоре Вильгельм укатил в Гвардейский экипаж, а Александр в Финляндские казармы...

Сам он так рассказал о событиях этого дня:

«По утру в день произшествия пошел я к Рылееву, который сказал мне дожидаться на площаде доколе придут войска. Я пришел на площадь, не найдя на оной никого, пошел домой и у ворот встретил Ринкевича коего взял сани, поехал чрез Исаакиевский мост в Финляндский полк дабы узнать приняли ли присягу, здесь встретил я квартемистерского офицера, котораго видел у Рылеева, и который известил меня что Гранадерский полк не подымается и звал меня ехать к оному. Прибыв туда, нашел некоторых офицеров на галереи от коих узнал что полк присягнул, но что Кажевников арестован, о чем мно[го] соболезновали...»

В своем признании следствию Александр о многом умалчивает.

Приехав в лейб-гренадерский полк с графом И. Коновницыным, он сообщил поручику Сутгофу, что Московский полк возмутился. Сутгоф, объявив присягу незаконной, поднял свою роту и повел ее на Сенатскую площадь.

Николай I направлялся туда же с Преображенским батальоном. К площади стали подтягиваться и вызванные им полки.

Александр Одоевский к этому времени был уже в рядах московцев.

К каре он прискакал верхом, но тут же спешился и получил в команду взвод для пикета. Зарядив пистолет, он осмотрелся.

Диктатора не было...

Рылеев, увидев на площади «совершенное безначалие, побежал искать князя Трубецкого, и после уже не был перед Сенатом».

К восставшим подъехал генерал-губернатор Милорадович и начал уговаривать солдат. Ему крикнули, чтобы

он удалился. Генерал продолжал говорить. Начальник штаба возмутившихся войск Евгений Оболенский ударил штыком графа в бедро. Тут же прогремел выстрел Каховского, и Милорадович, смертельно раненный, пополз к земле.

Около часу пополудни Николай приказал Конной гвардии атаковать мятежников.

Раздались залпы...

Услышав их, Николай и Петр Бестужевы подняли в казармах Гвардейский морской экипаж и повели его на помощь товарищам.

На Исаакиевский мост тем временем вступил Финляндский полк.

— Стой! — крикнул своему взводу поручик А. Розен.

Рота Сутгофа, прорвав конногвардейский строй, присоединилась к каре московцев.

Гвардейский экипаж под командой Николая Бестужева, встретив заслон павловцев, смял их в рукопашном бою и вышел на площадь. «...Мы... встретили Николая Александровича Бестужева; он был в расстегнутом сюртуке, с одним эполетом, сабля наголо, при нем находился взвод экипажа гвардии, человек в 20; они куда-то бежали», — вспоминал один из очевидцев этих событий Г. Солнцев.

К мятежному каре подошел митрополит Серафим в облачении, с крестом в руке. Его не захотели слушать.

Подъехавшие к морскому экипажу великий князь Михаил и генерал Левашов стали уверять, что Константин действительно отрекся от престола. «С ним вступили в разговор некоторые офицеры, — рассказывал впоследствии декабрист А. Беляев. — В это самое время, когда мы все были в таком мирном настроении, в ожидании скорого присоединения к нам всей гвардии, журналист Кюхельбекер несколько раз наводил на великого князя Михаила Павловича пистолет, один раз его отбил один унтер-офицер, в другой он спустил курок, но выстрела не последовало. Кюхельбекер в эту ночь ночевал у князя Одоевского, конногвардейского офицера, который как член общества, не быв в состоянии возмутить свой полк, считал своим долгом лично выйти на площадь...»

Николай, крайне напуганный создавшимся положением, велел приготовить экипажи для отправки семьи в Царское Село.

Подняв большую часть лейб-гренадер, член общества

поручик Панов возле главного штаба столкнулся с императором, окруженным отрядом кавалергардов.

Совсем юный, маленького роста, поручик, встретив кавалерию, пытавшуюся остановить восставших, не растерялся и, крикнув своим людям: «За мной!», пробился к площади штыками.

Каховский выстрелил в полковника Стюрлера, пытавшегося и на площади уговорить своих солдат вернуться. Увидев в руке Одоевского пистолет, один из гренадеров подбежал к нему и поцеловал его.

Доносчик Яков Ростовцев был избит московцами и получил от Оболенского сильнейшую оплеуху, после чего «был болен около месяца».

Диктатор на площади не появлялся...

В трудную минуту Трубецкого пришлось заменить. Однако два его помощника, полковник Булатов и капитан Якубович, не решились взять на себя ответственность (первый, несмотря на храбрость и военный опыт, «избрал себе сам отдельный круг действия»; другой, лихой кавказский рубака, уже начал играть в этот день непонятную двусмысленную роль — то подбадривая восставших, то обещая императору склонить их к покорности).

Николай Бестужев в силу того, что он моряк, от полномочий диктатора отказался. Начальствовать против его воли поручили князю Евгению Оболенскому. А время шло, драгоценное время!..

Царь подтягивал к площади артиллерию.

Восставшие стояли на одном месте. Поручик Оболенский тщетно пытался собрать военный совет: мятежное каре постоянно подвергалось кавалерийским атакам.

«День был сумрачный, — вспоминал участник событий М. Бестужев. — Солдаты, затянутые в парадную форму с 5 часов утра, стояли на площади уже более 7 часов. Со всех сторон мы были окружены войсками — без главного начальства (потому что диктатор Трубецкой не являлся), без артиллерии, без кавалерии, словом, лишенные всех моральных и физических опор для поддержания храбрости солдат. Они с необычайною энергиею оставались не колебимы и, дрожа от холода, стояли в рядах, как на параде».

Нижние чины других полков, тайком пробиравшиеся к мятежникам, просили их продержаться до темноты, с наступлением которой они обещали перейти на их сторону.

Необходимо было действовать, так как император уже собрал вокруг площади вызванные им пушки.

Силы были слишком неравны: восставших насчитывалось до 3300 человек, их окружали 12 тысяч пехоты и кавалерии.

После четырех часов пополудни император приказал артиллерии открыть огонь.

Поначалу картечь ударила выше голов. Второй выстрел попал в самую середину собравшейся толпы мещан. Она рассыпалась в разные стороны. Следующие выстрелы косили уже всех подряд.

Увидев катавшихся в снегу в предсмертных муках своих московцев, Михаил Бестужев скомандовал: «За мной!» — и побежал к Неве. Спустившись к реке, он остановил солдат и с помощью унтер-офицеров стал строить густую колонну, намереваясь идти по льду к Петропавловской крепости и занять ее.

План его был удачен. При крепостных пушках, обращенных ко дворцу, переговоры с императором могли бы иметь ощутимые результаты. Но построить Бестужев успел всего лишь три взвода. Снова ударили пушки, и по льду с визгом запрыгали тяжелые ядра. Они валили солдат десятками, но старые гвардейцы духом не падали и подбадривали молодых...

— Чего раскланиваешься ядрам? Али они тебе знакомы?

Колонна почти выстроилась, но внезапно раздался отчаянный крик:

— Тонем!

Не выдержав тяжести собравшихся людей, полуразбитый ядрами тонкий лед провалился. Солдаты барахтались и тонули в образовавшейся полынье...

...Полиция засыпала кровь чистым снегом, убирала трупы. По словам анонимного очевидца, «...у всех выходов дворца стоят пикеты, у всякого пикета ходят два часовых, ружья в пирамидах, солдаты греются вокруг горящих костров, ночь, огни, дым, говор проходящих, оклики часовых, пушки, обращенные жерлами во все выходящие от дворца улицы, кордонные цепи, патрули, ряды копий казацких, отражение огней в обнаженных мечах кавалергардов и треск горящих дров, все это было наяву в столице...».

«В колонне остался я доколе оная была растроена и разогната картечью, — показал А. Одоевский. — Тогда пошел я Галерной, и чрез переулок на Неву, перешел чрез лед на Васильевский остров к Чебышеву. Оттуда возвратился в город и заехал к Жандру, живущему на Мойке. Здесь дал мне сей последний фрак, всю одежду и 700 рублей денег...»

Варвара Семеновна плакала навзрыд.

— Бегите, Александр, скорее бегите из столицы! — сквозь слезы бормотала она.

Жандр был бледен, но спокоен.

— Можешь, Саша, ничего не рассказывать! — сказал он. — Я слышал выстрелы, видел восставших солдат и все понял. Тебе необходимо оставить Петербург.

Александр был словно в лихорадке.

«Все погибло! Уж лучше бы смерть от пули!..»

Покинув Жандра, он направился «в Катерингоф, где купил тулуп и шапку, и прошел к Красному Селу...». Чуть не сутки бродил он «не зная, зачем, ходил, бог знает где», угодил в прорубь, «два раза едва не утонул, стал замерзать, смерть уже чувствовал; наконец, высвободился, но совсем ума лишился; чрез сутки опамятовался...», «возвратился в Петербург, где прибыл к дяде своему Д. С. Ланскому, который отвел... к Шульгину», столичному полицмейстеру.

Первым арестованным, доставленным в Зимний дворец, был князь Щепин-Ростовский. За ним последовали другие...

Андрей Андреевич Жандр был также «требован к ответу по тому случаю, что вечером 14 декабря, после рассеяния мятежников, принял к себе одного из них, князя Одоевского, и дал ему способ уйти из города, снабдив его платьем и деньгами».

— Ты дал князю Одоевскому одежду? — спросил его Николай I.

— Я.

— Ты участвуешь в заговоре?

— Нет, но я их всех знаю. К тому же князь Одоевский в сентябре месяце спас родственницу мою, вытащил ее из воды, где она тонула, после чего из благодарности не мог я отказаться подать ему руку помощи. Тем более что родственница и сама была тут.

— Ступай!

Император простил Жандра.

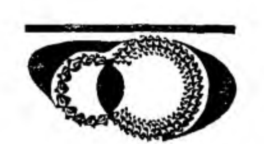
Но остальных своих «les amis du 14» (друзей 14-го. — *В. Я.)* он жестоко преследовал всю жизнь. Потому что не мог простить этим людям и испытанный им в тот день ужас.

Николай I и его приспешники всячески преуменьшали число погибших в тот роковой день, говоря о восьмидесяти, реже о сотне или двухстах...

Но вот «Заметка чиновника Департамента полиции С. Н. Корсакова о количестве жертв при подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825 г.:

При возмущении 14 декабря 1825 года убито народа:

Генералов	1
Штабофицеров	1
Оберофицеров разных полков	17
Нижних чинов лейбгвардии	
Московского	93
Гренадерского	69
Екипажа гвардии	103
Конного	17
во фраках и шинелях	39
женска пола	9
малолетних	19
черни	903
Итого	1271 человек».





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

> Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
> За дело правое я в ней.
> И мне ль стыдиться сих цепей,
> Коли ношу их за Отчизну.
>
> К. Ф. Рылеев

1

„Сколько прекрасных людей бесчеловечная *следственная комиссия наша погубила?..»*

(Н. И. Лорер)

Семнадцатого декабря в два с половиной часа дня Одоевского вместе с Пущиным доставили в Петропавловскую крепость.

Высочайшая записка коменданту генералу Сукину гласила:

«Присылаемых при сем Пущина и Одоевского посадить в Алексеевский равелин».

Александр оказался в шестнадцатом номере, в пятнадцатом сидел Николай Бестужев, в семнадцатом — Рылеев.

Случившееся воспринял Одоевский как катастрофу. Вчера — блестящий конногвардейский офицер, сегодня — арестант. Свыкнуться с этим было невозможно...

А допросы в Зимнем дворце уже начались.

«Я был зрителем таких возмутительных сцен, — вспоминал Михаил Бестужев, — что я невольно себя спрашивал: неужели это люди? Блестящая толпа гвардейцев превратилась в наглую дворню буяна-хозяина и в подражание ему... и ему в угоду безнаказанно глуми-

лась над связанными их собратами по мундиру. Тут я увидел, как тлетворен воздух дворцов... Я тут видел, как самые священные связи дружбы, любви и даже родства служили только поводом, чтобы рельефнее выказать свою душевную низость и лакейскую преданность... Ужасно... С меня оборвали мундир и сожгли в дворцовых сенях... Мне стянули руки веревкою так, что я из гордости только не кричал».

Александра тоже привезли в этот дворец.

«Пройдя через ряд комнат дворца совершенно обруганный, я был, вполне естественно, в совершенном замешательстве, какого еще родясь не испытывал».

— Ну-с, милостивый государь! — сказал ему, поднявшись из-за стола, красивый моложавый генерал-адъютант. — Прошу все начистоту! — и тряхнул кудрявой головой. — Только без промедления.

А он плохо слышал. Кровь прилила к голове, и было нестерпимо душно.

— Ну-с!.. — нетерпеливо повторил генерал.

И Александр начал рассказывать, писать...

Через день он не помнил уже, что говорил, ибо все перемешалось в его сознании и оно помрачилось. «Вчера — гвардейский офицер, сегодня — арестант!..» Сердце отказывалось этому верить.

Генерал Левашов снял с Одоевского допрос. Но на этом испытания Александра не окончились. Внезапно распахнулась дверь за ширмой, и в кабинет быстрыми шагами вошел император.

— Стыдитесь, князь! — громко сказал он. — Вы — потомок славного рода, и вдруг... в толпе бунтовщиков, мерзких негодяев!

— Но, государь!.. — хотел возразить Одоевский.

— Молчите! — в голосе Николая зазвучали визгливые ноты. — Вы опозорили имя отца и... Россию!

Плечи государя устало опустились, лицо стало печальным и сострадающим.

— А ведь так молоды еще. Мне жаль вас, юноша, искренне жаль!

Он приложил к покрасневшим от бессонных ночей глазам тонкий батистовый платок и, обреченно махнув рукой, ушел за ширму.

Но тотчас повернулся и осторожно заглянул в кабинет.

Левашов, согнувшись, заканчивал протокол допроса.

Одоевский стоял с опущенной головой, на лице его была не растерянность, но отчаяние.

Николай вытер со лба холодный пот. «Ничего, по заслугам будет и наказание» — и подал Левашову, поднявшему глаза, условный знак.

— Уведите арестованного! — приказал генерал.

Одоевского вывели из дворца и посадили в сани.

— В крепость! — крикнул толстый сонный фельдъегерь.

Лошади с места понесли.

Александр прикрыл ладонью глаза и тут же увидел отца, гуляющего по барскому саду. Долетела ли до него злая весть? Проклинает ли он своего сына?..

Размышлять о содеянном он сейчас не мог. Жизнь, которой он всегда радовался, окрасилась в черные тона.

«К сожалению, должен я признаться, что с самого времени смутных обстоятельств я чувствую беспорядок в моих мыслях: — иначе не умею истолковать всех моих действий...»

Зимний дворец остался позади, тройка сворачивала к мосту через Неву. Шпиль Петропавловской крепости приближался...

«Что жизнь? — внезапно мелькнуло в его голове. — К чему теперь она?»

Неведомой силой Александра выбросило из саней. Он спрыгнул с моста на припорошенный снегом лед и, путаясь в шинели, побежал к черневшей вдали полынье.

— Стой! Куда!.. — заорал перепуганный фельдъегерь и бросился за убегавшим арестантом.

Поскользнувшись, Александр упал.

Его подняли и вновь посадили в сани.

— Не извольте шутить, барин! — заикаясь от волнения, пробормотал фельдъегерь и до самой крепости уже не спускал глаз с беспокойного заключенного.

И потянулись для Александра страшные дни, полные переживаний и чувств «заживо погребенного человека со всеми ужасами этого положения, мучительно-однообразные дни, когда боишься вот-вот сойти с ума...».

С первых же дней следователи «начали мучить вопросными пунктами, в которых нас, — по свидетельству М. Бестужева, — как собак уськали и травили друг на друга. Заставляя оправдываться в небылицах, ловили

каждое необдуманное слово, всякое необдуманное выражение и, ухватясь за него, путали, как в тенета, новую жертву».

Рассвело, щебечут птицы
Под окном моей темницы;
Как на воле любо им!
Пред тюрьмой поют, порхают,
Ясный воздух рассекают
Резвым крылышком своим.
Птицы! Как вам петь не стыдно,
Вы смеетесь надо мной.
Ах! Теперь мне все завидно,
Даже то завидно мне,
Что и снег на сей стене,
Застилая камень мшистый,
Не совсем его покрыл.
Кто ж меня всего зарыл?
Выйду ли на воздух чистый? —
Я, как дышат им, забыл.

Одоевский пытался свести свою роль в восстании к самой незначительной. Лишь случай и юношеская экзальтация всему виной и еще безумие. Он был очень молод, сейчас ему, как никогда, хотелось жить.

«Я был в горячке. Я простоял 24 часа во внутреннем карауле, не смыкал глаз, утомился; кровь бросилась в голову, как со мною часто случается; услышал «ура», крики толпы и в совершенном беспамятстве присоединился к ней».

Он каялся и писал о своих заблуждениях.

Но позволим себе усомниться в искренности его раскаяния. Припадком «помешательства» объяснял свое участие в декабрьском выступлении и Вильгельм Кюхельбекер, пока еще не разысканный полицией. И они не были исключением среди своих товарищей.

Подобным образом вели себя многие декабристы.

И происходило это вовсе не от их малодушия и трусости (С. П. Трубецкой, С. Г. Волконский, М. Ф. Орлов и другие были героями Отечественной войны 1812 года), но оттого, что небольшая группа офицеров, возглавивших заговор, уже к началу его чувствовала свою оторванность не только от народа, но и от широких слоев своего класса.

Александр никак не мог свыкнуться с тем положением, в котором оказался. Оно его тяготило, будущее страшило...

Он искал спасительных мыслей — они не приходили в голову.

И тогда он писал царю:

«...Опамятовшись после суток, я немедленно, по возвращении моем, явился к вам, государь! чтобы быть чистосердечным, и был искренен с первой минуты, даже лишнее наговорил, как и оказалось, ибо поверил генералу Левашеву одни даже и догадки, и от того, что был ума лишен от стыда, поругания, от совершенного телесного изнеможения, и от того, что все видел перед собою вторую мою мать, Ланскую, которая едва не умерла на моих руках».

Но Николай I надолго запомнил корнета, находившегося в ночь на 14 декабря у его спальни. Будь он порешительней и...

Император вернул письмо Одоевского генералу Сукину, который в составленном им «Реестре высочайшим собственноручным е. и. в. повелениям...» отметил вечером того же дня:

«При возвращенном письме Одоевского на особой бумаге карандашом собственного его императорского величества рукою написано: «Из письма Одоевского увидите, что он что-то хочет объявить. Пусть напишет, а видеть его мне некогда».

Надежды на милость государя оказались напрасными.

А что же батюшка? Где он и что с ним?..

2

«Всемилостивейший государь!

К стопам отца милосердного, к стопам отца отечества припадает отец несчастный и убитый отчаянием.

Сын мой единственный прогневал царя, который для общего блаженства и спокойствия каждого должен быть строг и правосуден. Сын мой покрыл себя и меня стыдом, но по врожденной моей беспредельной приверженности к царскому престолу и по чувствам верного сына отечества, я не дерзаю и не могу просить ему помилования, ибо вина его превышает все меры воображения моего!..»

Иван Сергеевич Одоевский медленно поднялся из-за стола.

Старинные бронзовые часы пробили одиннадцать.

Князь подошел к широкому окну.

Село Николаевское засыпало снегом. Он настойчиво царапался о стекло, скованное январскими морозами и запотевшее изнутри.

Старому князю захотелось уйти в бескрайнее снежное поле. Ветер в лицо, стужа на сердце... И голоса не слышно на много верст кругом.

Ему захотелось плакать.

Уже месяц сын его Александр сидел в мрачной темнице — Петропавловской крепости. Одинокой и холодной... Виновен ли он — судья тому бог! Но, увы, сейчас жизнь сына, его судьба в руках земного владыки — российского императора.

И ему, боевому генералу, потомку князей Черниговских, приходится унижаться перед самодержцем. Князь не питал к Николаю особой любви и злобы тоже и нынешний правопорядок считал естественным. Но Александр, сын его, наследник!..

Одоевский вернулся к столу.

Толстая свеча в канделябре оплыла почти до основания.

Князь зажег новую и тяжело опустился в кресло.

«...Неслыханным событием 14 числа все уничтожено для сына моего несчастного; природные его дарования, прилежание к наукам и к службе, всегдашнее отличное его поведение, засвидетельствованное его полковым начальником и всем корпусом офицеров, — все сие истреблено обольщением и задорным замыслом зловредных людей; тогда, когда по данному мною ему воспитанию я всегда надеялся видеть его достойным монаршего внимания.

Итак мои 20-летние нежные попечения, советы ему данные, и просьбы были слабее обольщения людей хищных, кои одним днем убили сына и отца. Ваше императорское величество будете сами чадолюбивый родитель, поверить изволите жестокой горести рыдающего отца!..»

Иван Сергеевич вспомнил свою двоюродную сестру Парашу, когда-то бывшую ему нежной женой, а Александру — любящей матерью. Шесть лет назад ушла она из жизни. Ушла тихо, робко, как бы извиняясь за причиненное родным беспокойство. Ушла и унесла с собой половину его сердца. Потом новая женитьба, дети... Но первенец остался любимым.

Неужли новый царь не будет милостив?..

«...Буде милосердным монархом уважаемы быть мо-

гут молодые лета сына и слезы 57-летнего отца, который беспорочно жил и престолу служил усердно в поле 35 лет, то умоляю слезно вашего императорского величества — по наказании сына моего отдать его мне для исправления, дабы мог я бы его паки сделать достойным носить, как и я, имя вашего верноподданного.

Сколь счастлив бы я был, если б ваше императорское величество за зло, сделанное мне и отечеству коварными обольстителями сына моего, употребить изволили меня для их истребления и охранения священной и драгоценной особы вашей от сих извергов, нарушающих спокойствие ваше и нашего счастливого отечества под скипетром вашим.

Примите милостиво строки вашего императорского величества верноподданного отставного генерал-майора князя *Ивана Одоевского*.

Января 17 дня 826.

Владимирской губернии Юрьевского уезда из с. Николаевского».

Кончив писать, князь с раздражением бросил на стол перо. Униженный тон письма колол его самолюбие, но он пересиливал себя и выводил чуть не по слогам строку за строкой, морща лицо и кривя губы.

— Лишь бы помогло Александру! — глухо шептал он. — Лишь бы помогло...

В дверь постучали.

Князь поднял голову, но не откликнулся.

Дверь тихо приоткрылась.

— Иван Сергеевич! — осторожно позвал его знакомый женский голос.

На пороге с лампой в руке стояла жена. Лицо ее было встревожено.

— Глухая ночь на дворе, ветер воет, а вы... я испугалась.

— Дети спят? — спросил Одоевский.

— Давно уж...

— Ложись, Маша, и ты.

— Но...

— Не жди меня. Что, почта завтра отправляется?

— Никита сказывал: утром.

— Иди, Маша, иди! Я приведу свои бумаги в порядок. Письмо окончу...

— Боже, смилуйся над ним! — неожиданно прошептала женщина.

Старый князь вздрогнул и побледнел.

— Марья Степановна! — звенящим голосом сказал он. — Я прошу вас...

— Я пошла, Иван Сергеевич, пошла... Спокойной ночи! — Жена быстро, но бережно прикрыла за собой дверь.

Князь Одоевский остался один. Он взял в руки горящую свечу и вновь подошел к окну. Оно скрипело и подрагивало. Князь судорожно вздохнул и внезапно распахнул форточку.

В комнату с воем и свистом ворвался колючий снежный ветер.

Бумаги со стола полетели на пол. Огонь свечи дернулся, вытянулся в сторону тонким трепещущим язычком и погас.

«Вот так и жизнь, лишь холодом повеет... — подумал князь и застонал от мгновенной боли в груди. — Саша! Где ты теперь? Как ты сейчас, сын, сердцу моему любезный?..»

3

Что представляла из себя жизнь заключенного в равелине?

Вставали по утрам когда хотели. Однако подъем арестанта не оставался не замеченным тюремщиками. Минут через десять-пятнадцать дверь отворялась, и в камеру в окружении сторожей торжественно и строго вступал комендант. Начинались умывание и уборка комнаты.

Комендант тем временем осведомлялся о здоровье арестанта, изредка заводил посторонний разговор о предметах отвлеченных или стародавних. На вопросы, касающиеся настоящего времени, даже о погоде, он попросту не отвечал, лишь укоризненно покачивал головой и вздыхал.

Обед, вечерний чай подавались в разное время, ужин — не позже девяти часов. Ночью постоянно горел ночник. Книг, за исключением духовных, не было совсем. Изредка под присмотром инвалидов узников водили на прогулку в «садик», в котором росло одно хилое деревце и несколько кустиков. Со всех сторон заключенных окружали мрачные каменные стены. Любоваться можно было лишь небом, то светлым и чистым, то грозовым и облачным, стремительно несущимся куда-то.

В окошко камеры, если встать на рундук, прикрывающий сток воды, виднелся лишь архангел с трубой на шпиле Петропавловской крепости.

Кровать, стол и стул составляли всю мебель узника, чье одиночество делили с ним красные муравьи и черные тараканы, мыши и мокрицы... Наблюдения за их суетливой беготней — одно из обычных развлечений арестантов. Впрочем, вскоре они нашли способ и общаться друг с другом через стены, звук сквозь которые передавался довольно ясно.

Однако с тюремной азбукой все оказалось не так просто. Михаил Бестужев, придумав ее, сумел достучаться до брата Николая, сидевшего в соседнем номере.

Тот захотел поговорить с другими соседями, в частности с Рылеевым, но между ними оказался шестнадцатый номер.

А в номере этом сидел Одоевский. Состояние его в то время было крайне плохим: он то впадал в депрессию и мог часами до боли в глазах смотреть, как за маленьким тюремным окошком плывут по далекому небу торопливые облака, то его охватывало лихорадочное веселье, и он бегал по камере, дико распевая романсы и читая стихи, скакал через кровать или стул, бился в запертую дверь... Как ни стращали его тюремщики, Александр не унимался. В конце концов его оставили в покое.

Впервые услышав стук из соседней камеры, Одоевский, обрадовавшись и не сообразив, что к чему, начал бешено колотить в стену руками и ногами. Обескураженный и встревоженный этим Николай Бестужев тут же переставал стучать, дабы не обнаружить сторожам своих намерений.

Попытки Бестужева «пробиться» через Одоевского к Рылееву не увенчались успехом и вовсе не потому, что узник шестнадцатой камеры, по словам братьев Бестужевых, «не знал азбуки по порядку...».

Дело было не в этом.

Российскую азбуку Александр знал прекрасно. Знал до того момента, как закрылись за ним крепостные ворота. Оказавшись в Алексеевском равелине, в тоскливом одиночестве, он стал забывать порой и свое имя. Об азбуке и говорить не приходилось...

Буквы наползали одна на другую, ассоциировались с предметами близкими, ушедшими и еще бог знает какими.

А... — Александр... арестант.
Б... — бывший... будущее... бездна.
В... — Владимирщина.
Г... — государь... грозный... гнет.
Д... — добрый... деспотизм.
М... — мать... мир.
О... — отец... Отечество... Одоевский.
Буквы путались, преграждая путь мысли.

1826 года 14 февраля Высочайше учрежденный комитет требует от Г. корнета конной гвардии князя Одоевского показания:

«Коллежский Асессор Грибоедов когда и кем был принят в тайное общество? С кем из членов состоял в особенных сношениях? Что известно ему было о намерениях и действиях общества и какого рода вы имели с ним рассуждения о том?»

Александр крайне встревожен.

Он не знал, что еще в декабре прошлого года имя его двоюродного брата Грибоедова прозвучало на допросе неудавшегося диктатора Сергея Трубецкого: «Г[енерал]-М[айор] князь Волконский говорил мне, что есть или должно быть, по его предположению, какое-то общество в Грузинском корпусе, что он об этом узнал на Кавказе, но он не удовлетворительно о том говорил и, кажется, располагал на одних догадках. Я знаю только из слов Рылеева, что он принял в члены Грибоедова, который состоит при генерале Ермолове; он был летом в Киеве, но там не являл себя за члена; это я узнал в нынешний мой приезд сюда».

Рылеев на следующий день ответил таким образом:

«Грибоедова я не принимал в Общество: я испытывал его, но, нашед, что он не верит возможности преобразовать правительство, оставил его в покое. Если же он принадлежит обществу, то мог его принять князь Одоевский, с которым он жил, или кто-либо на юге, когда он там был».

Следственную комиссию эти ответы не удовлетворили. Распоряжение об аресте было подписано 2 января 1826 года, а через двадцать дней он был взят в крепости Грозной прибывшим туда фельдъегерем Уклонским и привезен в Петербург 11 февраля.

И уже через три дня вопрос Одоевскому: «Коллеж-

ский Асессор Грибоедов когда и кем...» Александр в большой тревоге за брата. Не хватало, чтоб и его!.. Нет! Что угодно, только не это!..

Он тут же отвечает комиссии:

«Так как я коротко знаю Г-на Грибоедова, то об нем честь имею донести совершенно положительно, что он ни к какому не принадлежит обществу. Корнет князь *Одоевский».*

Прошел еще день: тревога за несчастного отца, за Грибоедова усилили тюремную болезнь. Развилось нечто вроде горячки.

Мысли плавились в голове.

И однажды утром, рано проснувшись, он почувствовал, что над ним распростерлась «умиротворяющая божья длань». Узкая сырая темница словно бы раздвинулась и осветилась голубым призрачным светом.

Он попросил себе чистых листов бумаги и написал председателю следственного комитета, военному министру А. И. Татищеву послание:

«Ваше высокопревосходительство!

Благодать господа бога сошла на меня: дух бодр, ум свеж, душа спокойна, сердце так же, как и прежде, чисто и молодо; а все от совершенно чистого раскаяния и благодати божией!

Раскаяние мое увидели вы с первого взгляда, но также заметили, что я несколько колебался, — не ради себя: ибо что слово, то мне спасение; но ради новых лиц. Но при милосердии государя, при отеческом нашем правительстве, пред такими почтенными людьми — что беречь лица? Кроме добра, нечего ждать. Право, от слабоумия и молодости; но вы, зная мое неиспорченное сердце, великодушно простите мне в этом.

Допустите меня сего дня в Комитет, ваше высокопревосходительство! Дело закипит. Душа моя молода, доверчива: как не быть ей таковою? Она порывается к вам. Я жду с нетерпением минуты явиться перед вас. Я надумался; все в уме собрал. Вы найдете корень. Дело закипит. Я уже имел честь донести вашему высокопревосходительству, что я наведу на корень: это мне приятно. Но прежде я колебался от слабоумия, а теперь с убеждением...»

По письму этому можно вполне судить о степени душевного расстройства Одоевского. Это заметили даже члены следственной комиссии, оставившие в протоко-

ле заседания запись о нем, как о «поврежденном в уме».

Просветления в рассудке не наступало.

Ничего нового от него комитет, конечно же, не узнал, лишь отметил, что ни «на одно слово Одоевского положиться нельзя».

В феврале Александр узнал, что в крепость привезли пойманного в Варшаве Вильгельма Кюхельбекера. Узнал от Петра Николаевича Мысловского, протоиерея Казанского собора, приставленного к арестантам для увещевания. И нечаянно проговорился о том...

Священник получил жестокий выговор.

Александр был в полном отчаянии.

«Одно меня только очень мучает все эти дни, — писал он Татищеву, — не погубил ли я священника. Он право не виноват в том, что я узнал о Кюхельбекере; я виноват: я стал первый говорить, что зачем Кюх[ельбекер] убежал, что он всех невиннее: ибо он принадлежал обществу дней с 8-мь, что его же схватят, что в России не уйдешь; а священник кивнул головою. Я и заключил, что он здесь. Спасите священника! Эта мысль меня очень мучает, что я погубил его!.. Спасите, сделайте милость, спасите его! Он, кажется, человек почтенный!..»

Первые месяцы Александр много писал, длинно и путано объясняя свое участие в заговоре, еще надеясь на милость государя и снисхождение правительства. Молчать он не мог, боясь полного душевного помрачения, к тому же в настоящем положении его «сердце не терпело немоты»... «Одно еще слово, — обращается он к председателю Следственного комитета. — Русский человек — все русский человек: мужик-ли, дворянин-ли, несмотря на разность воспитания, все то же! Пока древние наши нравы, всасываемые с молоком (особенно при почтенных родителях), пока вера во Христа и верность государю его одушевляют, — то он храбр, как шпага; тверд как кремень; он опирается о плечи 50 миллионов людей; единомыслие 50 миллионов его поддерживают: но если он сбился с законной колеи, то у него душа — как тряпка. Я это испытал...»

Народ за тобой — «тверд как кремень», потерял его поддержку — «душа — как тряпка».

Иной раз он пытался посмотреть на себя со стороны, и ему становилось страшно. Он ли это?

«Боже мой! — скорбела тогда душа. — Я не узнаю себя!..»

Шестого марта в Петербурге раздались пушечные залпы. Тело умершего Александра I привезли наконец в столицу. Двор лихорадочно готовился к отпеванию и похоронам.

По обеим сторонам улиц, ведущих к Казанскому собору, стояли войска. Народ толпился на подмостках, переполнил все балконы.

Верхами ехали церемониймейстеры с пестрыми перевязями через плечо. Сзади шли духовные, ямщики, цеховые со значками... Маршалы от губерний и министерств торжественно несли в руках жезлы. Не обошлось и без конфузов: перепились подьячие, с кровель упало и ушиблось насмерть несколько человек, две дамы провалились в сороковую бочку, на которой стояли, заплатив за место деньги...

Погребение состоялось через неделю.

Горели свечи... Николай вытирал платком сухие воспаленные глаза и смотрел в сторону, где безмолвно высилась Петропавловская крепость.

Пасха в этом году пришла в Россию 18 апреля.

На дорогах еще стояла распутица.

Петербург красил яйца и праздновал.

Почерневшая Нева взрывалась тяжелыми обломками льда.

Шпиль Петропавловской крепости темнел и подрагивал в порывах пронзительного сырого ветра. В домах столичных обывателей царило оживление.

А в крепости?..

В крепости услышали пушечный выстрел, возвестивший о времени, когда православные собираются в церковь. В полночь выстрелы повторились.

«Начали христосоваться!» — прошептал Одоевский.

Сидя на кровати, он вспомнил народные гулянья, музыку, веселый смех... У него защемило сердце, и в душе, переполненной сомнениями, мыслями о боге и бессмертии, стали рождаться поэтические строки, несколько странные и болезненные...

Пробила полночь... Грянул гром,
И грохот радостный раздался;

От звона воздух колебался,
От пушек в сумраке ночном,
По небу зарева бежали
И, разметаяся во тьме,
Меня, поющего в тюрьме,
Багровым светом освещали.
Я, на коленях стоя, пел;
Со звуком уст моих на небо взор летел...
И херувимов тьмы вспылали
В надзвездной вышине;
Их песни слышалися мне.
С их гласом все миры гармонию сливали,
Воскресший средь их бездн стоял,
И день, блестящий день сиял
Над сумраками ночи.
Стоял он радостный средь волн небесных сил
И полные любви божественные очи
На мир спасенный низводил.
И [«] слава вышнего, и на земле спасенье [»]
Я тихим гласом воспевал.
И мой, мой также глас к воскресшему взлетал:
Из гроба пел я воскресенье.

Стихотворение это в достаточной степени характеризует состояние Одоевского.

Но главное, он уже писал, как всегда, не занося своих стихов на бумагу, предоставляя это делать друзьям.

«В Светлое Воскресенье, — вспоминал Дмитрий Завалишин, — при звуке пушечной пальбы, в полночь, Одоевский импровизировал стихи...

Вообще надобно заметить, что именно еще в крепости началась так называемая «казематская литература»...»

По мутной невской воде плыл талый лед.

Петербург пригревало весенним солнцем.

Вместе с землей оттаивала и душа поэта. В ней просыпалось поэтическое волнение, рождались строки о себе, о поэте, пострадавшем за свободу, но сохранившем в душе прежний огонь.

Время тоски и исступленья проходило...

Таится звук в безмолвном мире,
Как искра в темных облаках.
И песнь, незнаемую в мире,
Я вылью в огненных словах.
В темнице есть певец народный,
Но — не поет для суеты:
Срывает он душой свободной
Небес бессмертные цветы;
Но, похвалой необольщенный,
Не ищет раннего венца...
Почтите сон его священный,
Как пред борьбою сон борца.

Александр оживал...

Оживали и другие декабристы.

Пришел в себя и Вильгельм Кюхельбекер, написавший Следственному комитету, что он считал своим долгом выйти на Сенатскую площадь, «ибо, взирая на блистательные качества, которыми бог одарил народ русский, народ первый в свете по славе и могуществу своему, по своему звучному, богатому, мощному языку (и это для писателя не последнее), коему в Европе нет подобного, наконец, по радушию, мягкосердию, остроумию и непамятозлобию, ему перед всеми свойственному, я душою скорбел, что все это подавляется, все это вянет и, быть может, опадет, не принесши никакого плода в нравственном мире!..»

Спасая товарищей, Рылеев в апреле взял всю вину на себя, тем самым окончательно решив свою участь.

«Настоящая моя история заключается в двух словах, — в последнем письме из крепости написал Пестель, — я страстно люблю мое отечество, я желал его счастья с энтузиазмом».

Под этими словами могли бы подписаться многие из декабристов.

«Не о себе хочу говорить, — заявлял Каховский, — но о моем отечестве, которое, пока не остановится биение моего сердца, будет мне дороже всех благ мира и самого неба!»

Александр Бестужев написал царю письмо об ужасающем состоянии России до декабрьского восстания, о причинах, побудивших его и его товарищей взяться за оружие.

Тем временем дело близилось к развязке.

Для некоторых даже удачной...

4

«По воле государя императора покорнейше прошу ваше высокопревосходительство взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству».

Генерал Ермолов пренебрег отношением военного министра: дал возможность Грибоедову сжечь опасные бумаги.

Фельдъегерь Уклонский повез арестованного в Петербург. За себя Грибоедов был спокоен, так как не знал, что имя его звучало на следствии не единожды. Он волновался за своих друзей, участи которых в настоящее время мало бы кто позавидовал. В аресте Саши Одоевского, Рылеева, Бестужева, Кюхельбекера... он почти не сомневался.

Мысли о них тяготили его.

Что же будет с ним — покажет будущее. Ермолов?.. Он, пожалуй, не выдаст, хоть знает много. Вот если из приятелей кто...

В Петербург тем временем летела депеша кавказского наместника:

«Господин военный министр сообщил мне высочайшую волю взять под арест служащего при мне коллежского асессора Грибоедова и под присмотром прислать в Петербург прямо к его императорскому величеству. Исполнив сие, я имею честь препроводить господина Грибоедова к вашему превосходительству. Он взят таким образом, что не мог истребить находившихся при нем бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме немногих, кои при сем препровождаются. Если же впоследствии могли быть отысканы оные, я все таковые доставлю. В заключение имею честь сообщить вашему превосходительству, что господин Грибоедов во время служения моего в миссии нашей при Персидском дворе и потом при мне как в нравственности своей, так и в правилах не был замечен развратным и имеет многие весьма хорошие качества».

Не доезжая Москвы, Грибоедов прочел в «Санкт-Петербургских ведомостях», что в столицу привезен В. Кюхельбекер, схваченный в Варшаве...

Восьмого февраля 1826 года запаленная фельдъегерская тройка влетела в Москву. Встреча с братьями Бегичевыми внесла некоторую ясность в истинное положение вещей и определила линию поведения на предстоящих допросах: все отрицать, не давая следственной комиссии ни единой зацепки...

Одиннадцатого февраля он в Петербурге, в Зимнем дворце, на главной гауптвахте. Начались допросы...

«Я к тайному обществу не принадлежал и не подозревал о его существовании. По возвращении моему из Персии в Петербург в 1825 году я познакомился посредством литературы с Бестужевым, Рылеевым и Оболенским.

Жил с Одоевским и по Грузии был связан с Кюхельбекером. От всех сих лиц ничего не слыхал, могущего дать малейшую мысль о тайном обществе. В разговорах я видел часто смелые суждения насчет правительства, в коих сам я брал участие: осуждал, что казалось вредным, и желал лучшего. Более никаких действий моих не было, могущих на меня навлечь подозрения, и почему оное на меня пало, истолковать не могу».

Скоро его перевели на другую гауптвахту — в Главный штаб, — переполненную арестантами.

По духу времени и вкусу
Он ненавидел слово «раб»...
За то попался в Главный штаб
И был притянут к Иисусу...

Подружившийся с ним командир Тарутинского полка Р. В. Любимов, взятый по подозрению в принадлежности к Южному обществу, попенял Грибоедову, что тот признался в своих вольных суждениях о правительстве.

— Надо отвечать по-военному: знать не знаю и ведать не ведаю. С боем сдавать лишь то, что удержать нельзя.

Совет этот Грибоедов запомнил.

Он написал государю письмо, без всякого подобострастия.

На письме его начальник штаба армии И. И. Дибич приписал: «Объявить, что этим тоном не пишут государю и что он будет допрошен».

А пока допрашивали его товарищей...

Рылеев не признал его членом общества, Одоевский тем более.

Александр Бестужев показал следующее:

«С Грибоедовым, как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о преобразовании России. Говорил даже, что есть люди, которые стремятся к этому — но прямо об обществе и его средствах никак не припомню, чтобы упоминал. Да и он как поэт желал этого для свободы книгопечатания и русского платья. В члены же его не принимал я, во-первых, потому что не желал подвергнуть опасности такой талант, в чем и Рылеев был согласен. Притом же прошедшего 1825 года зимою, в которое время я был знаком с ним, ничего положительного у нас не было. Уехал он в мою бытность в Москве, в начале мая, и Рылеев, говоря о нем, ни о каких поручениях не

упоминал. Что же касается до распространения членов в корпусе Ермолова, я весьма в том сомневаюсь, ибо оный, находясь вне круга действий, ни к чему бы нам служить не мог».

Не признали Грибоедова заговорщиком и члены Южного общества. На первый допрос его вызвали в конце февраля.

«Знать не знаю, ведать не ведаю!» — этого принципа решил придерживаться он в будущем.

Дни заключения тянулись нескончаемо долго...

Стараясь не думать о худшем, Грибоедов занялся изучением русской истории, совершал ночные прогулки по Петербургу в сопровождении Жуковского, бывал у Николая Муханова и Андрея Жандра...

Дежурный генерал по Главному штабу А. Н. Потапов знал об этих прогулках, но закрывал на них глаза: Ермолов в частном письме по-приятельски просил его позаботиться о заключенном.

Император ожидал депеши от князя А. С. Меншикова, ревизовавшего Кавказский корпус. И когда она пришла, благожелательная и корректно составленная, на высочайшее утверждение вновь подали резолюцию:

«Коллежский асессор Грибоедов не принадлежал к обществу и о существовании оного не знал. Показание о нем сделано князем Евгением Оболенским 1-м со слов Рылеева; Рылеев же ответил, что имел намерение принять Грибоедова; но, не видя его наклонным ко вступлению в общество, оставил свое намерение. Все прочие членом его не почитают».

На этой записке Николай I начертал:

«Выпустить с очистительным аттестатом».

2 июня его освободили. Поселился он у Жандра. Пришел брат Николая Муханова Александр, уезжавший на Украину. С ним Грибоедов написал своему товарищу, освобожденному ранее из-под следствия, С. П. Алексееву несколько строк:

«...теперь я в таком волнении, что ничего порядочного не умею ни сказать, ни написать. В краткости толку мало, а распространяться некогда... Верь, что я по гроб буду помнить твою заботливость обо мне, сам я одушевлен одною заботою, тебе она известна, я к судьбе несчастного Одоевского не охладел в долговременном заключении и чувствую, надеюсь и верую, что бог мне будет помощник...»

Мысль о заточенном в крепости брате Александре и его друзьях мучила его ежедневно.

Он прожил в Петербурге целый месяц.

Узнал о приговоре своим друзьям. И каждое имя в «Росписи государственным преступникам...» болью отзывалось в его сердце. Рылеев... Смертная казнь... Кюхельбекер... Бестужевы... Саша Одоевский — каторга, каторга...

Уезжал он из столицы раздавленный тяжелыми известиями.

Снова упиваюсь я
Вольностью и негой чистой.
Но где друг?.. но я один!..

5

Декабрьское восстание потрясло не только Россию, но и Европу.

Николай I уверял дипломатов, что «восстание это нельзя сравнить с тем, что происходило в Испании и Пьемонте. Слава богу, до этого мы еще не дошли и не дойдем никогда... еще раз повторяю вам: то было не восстание... Революционный дух, внесенный в Россию горстью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями, пустил несколько ложных ростков и внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой, благодаря бога, в России нет данных».

Европа не верила лживым утверждениям русского императора, так как глазами своих представителей видела страну в ее истинном свете.

По наблюдениям чиновника министерства внутренних дел Н. Щукина, несмотря на поражение декабристов, «всеобщее настроение умов было против правительства, не щадили и государя. Молодежь распевала бранные песни, переписывали возмутительные стихи, бранить правительство считалось модным разговором. Одни проповедовали конституцию, другие республику, для примера указывали на Англию и Союзные Штаты. Из старших были и разумные люди. Они уверяли, что при крепостных крестьянах невозможна ни конституция, ни республика, что народ без царя быть не может... Над ними смеялись и называли отсталыми».

Остановить «брожение умов» император пытался репрессивными мерами, намереваясь с корнем вырвать революционные мысли и устранить их проповедников.

Яркий пример тому — процесс над декабристами...

1 июня 1826 года: Николай I объявил манифест об учреждении Верховного уголовного суда из 72 человек: членов Государственного совета, сенаторов, представителей Синода и особоуполномоченных военных и гражданских чиновников. Председателем суда стал председатель Государственного совета и Комитета министров князь П. В. Лопухин, его заместителем — председатель Департамента гражданских и духовных дел князь А. Б. Куракин. Министру юстиции князю Д. И. Лобанову-Ростовскому предложили «исполнять в сем суде обязанности по званию генерал-прокурора».

6 июня. «В четверг (3 июня), — писал император своему брату Константину Павловичу, — начался суд со всей приличествующей обрядностью, заседания не прерываются с 10 часов утра до трех часов пополудни; при всем том я не знаю еще, к какому приблизительно дню это может быть окончено. Затем наступит казнь; ужасный день, о котором я не могу думать без содрогания... Я предполагаю приказать произвести ее на эспланаде крепости...»

11 июня. Разрядная комиссия во главе с М. М. Сперанским приступила к работе по определению степени виновности каждого из 122 подсудимых.

Шли дни... Осужденных разделили на одиннадцать разрядов. Находясь в крепости, они были в полном неведении относительно происходящего.

30 июня. Очередное заседание Верховного уголовного суда. Есть судьи, нет подсудимых. На повестке — участь пятерых «государственных преступников», объявленных «вне разрядов»: Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского...

Решено: «К смертной казни. Четвертованием».

За — большинство рук, против — одна, старческая, дрожащая, принадлежавшая адмиралу Н. С. Мордвинову. Может ли выносить смертный приговор человек, отдавший столько сил за отмену пыток и казней!..

31 человек 1-го разряда — к отсечению головы, 19 — к вечной каторге и так далее... Приговор необычайно жестокий.

Царь молчаливо требовал оставить ему лазейку для «высочайших милостей». Ему ее оставили...

Царский указ суду последовал довольно скоро:

10 июля. «Рассмотрев доклад о государственных преступниках, от Верховного уголовного суда нам поднесенный, мы находим приговор, оным постановленный, существу дела и силе законов сообразный. Но силу законов и долг правосудия желая по возможности согласить с чувством милосердия, признали мы за благо определенные сим преступникам казни и наказания смягчить...»

Первый разряд — к вечной каторге, вечная каторга — двадцатью годами и тому подобное.

— Я удивлю Европу своим милосердием! — заявил Николай I герцогу Веллингтону.

«Относительно преступников, здесь не поименованных, кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предаю решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится.

Верховный уголовный суд в полном его присутствии имеет объявить осужденным им преступникам как приговор, к ним состоявшийся, так и пощады, от нас им даруемые...»

День этот для императора начался неплохо.

«Друзья 14-го» раздавлены. Но что скажет Европа? История?

В тот же день председатель Верховного суда П. В. Лопухин получил записку следующего содержания:

«Государь изволил отозваться, что доклад и все приложения просмотрит и даст по оному свое повеление, но тут же присовокупил, что если *неизбежная смертная казнь* кому подлежать будет, *государь ее сам не утвердит,* а уполномочит Верховный уголовный суд окончательно самому разрешить тот предмет».

Князь Лопухин не успел еще как следует поразмыслить над запиской, как от начальника штаба армии барона И. И. Дибича пришло новое послание:

«Милостивый государь
князь Петр Васильевич!

В высочайшем указе о государственных преступниках на доклад Верховного уголовного суда в сей день состоявшемся, между прочим, в статье 13-й сказано, что пре-

ступники, кои по особенной тяжести их злодеяний не включены в разряды и стоят вне сравнения, предаются решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится.

На случай сомнения о виде казни, какая сим преступникам судом определена быть может, государь император повелеть мне соизволил предварить вашу светлость, что *его величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и словом ни на какую смертную казнь*, с пролитием крови сопряженную».

Император подталкивал Верховный суд, однако сам умывал руки.

Его лихорадило: испытанный полгода назад страх давал о себе знать и теперь. Вечером он написал императрице Марии Федоровне:

«Сегодня получил доклад Верховного суда, составленный кратко, и он дал мне возможность, кроме пяти человек, воспользоваться данным мне правом, — немного убавить степень наказания. Я отстраняю от себя всякий смертный приговор, а участь пяти наиболее жалких предоставляю решению суда. Эти пять следующие: Пестель, Рылеев, Каховский, Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин; 24 приговорены к вечной каторге вместо смертной казни. В числе этих находятся: Трубецкой, Оболенский, Волконский, Щепин-Ростовский и им подобные...»

Над Царским Селом опустилась ночь.

Николай не спал... Приезжали и уезжали в разные стороны курьеры.

Ужас того декабрьского дня он как бы пережил заново. Перед глазами его всплыли решительные лица Михайлы Бестужева и князя Щепина-Ростовского, наиболее активных зачинщиков восстания.

А между тем!..

11 июля. «Верховный Уголовный Суд, по выслушании Высочайшего Именного Указа, в 10 день июля сему Суду данного, положили: поелику XIII-ю статьею сего Высочайшего Указа, Его Императорское Величество Всемилостивейше соизволил участь преступников, в оном не поименованных, как по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов, и вне сравнения с другими, предать реше-

нию Верховного Уголовного Суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем Суде состоится, то сообразуясь с Высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленном смягчением казней и наказаний, прочим преступникам определенных, Верховный Уголовный Суд по Высочайше предоставленной ему власти, приговорили: вместо мучительной смертной казни четвертованием, *Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михайле Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому,* приговором Суда определенной, сих преступников за их тяжкие злодеяния, повесить.

Подлинный протокол за подписанием:
Председателя и Членов Верховного Уголовного Суда».

Император мог быть вполне доволен.

12 июля. В Сенате собрался Верховный уголовный суд — все 72 человека.

— Господи, помилуй! Господи, благослови!..

Помолившись, они поехали через Неву в крепость в сопровождении двух эскадронов жандармов.

В доме коменданта стояли накрытые красным сукном столы.

— Господи, помилуй! — сказал митрополит и сел.

— Помилуй!.. — вторя ему, пробормотали члены Государственного совета.

Министр юстиции поправил на груди андреевскую ленту.

— Привести подсудимых!..

...В сопровождении часовых первую группу заключенных повели по длинным, слабо освещенным коридорам. На пути им встретились крепостные священник, доктор и несколько чиновников. Некоторые из них плакали.

Было раннее утро.

Возле закрытых дверей у входа в комендантскую залу стояли часовые. Дверь тотчас же распахнулась, и глазам узников, отвыкшим от столь яркого света, предстало необыкновенное зрелище.

За огромным столом, накрытым красным сукном, сидели четыре митрополита, по обе стороны от них расположились Государственный совет и генералитет, далее на лавках и стульях — сенаторы в красных мундирах. На высоком пюпитре лежала большая книга, возле нее нетерпеливо топтался высокий худой чиновник, рядом стоял министр юстиции князь Лобанов-Ростовский. Все были в полной парадной форме.

— Генерал-майор Фонвизин... — внезапно начал читать чиновник, — лишается всех прав состояния, чинов, орденов и ссылается на каторжные работы...

Адмирал Мордвинов был грустен, опустив голову, он судорожно мял белый платок, лежавший у него на коленях.

Приговор Одоевскому читали чуть ли не последним: он был отнесен к 4-му разряду и приговорен к 15-летней каторге, сокращенной ему впоследствии конфирмацией царя до 12 лет.

По окончании чтения министр юстиции скомандовал: «Направо!», осужденных выпроводили из залы и в сопровождении часовых повели вдоль берега Невы в Алексеевский равелин. Там их заперли по разным комнатам на целые сутки.

Вскоре приговор объявили и остальным «государственным преступникам»...

Пятерых отделили от остальных осужденных. Но встреча с ними все же произошла.

«Это была счастливая случайность, — через тридцать пять лет вспоминал Михаил Бестужев. — Каждый разряд для слушания сентенции собирался в особые комнаты, кругом уставленные павловскими гренадерами. Дверь из комнаты, где был собран 1-й разряд, распахнулась в ту комнату, где стояли пятеро висельников: я и многие другие бросились к ним. Но мы только успели обняться, нас и разлучили...»

12 июля, во вторник, Екатерина Бибикова, урожденная Муравьева-Апостол, написала императору письмо, в котором она умоляла Николая разрешить ей последнее свидание с осужденным на смертную казнь братом Сергеем.

Николай колебался, но отказать в просьбе несчастной женщине не смог. Однако в своем письме начальнику штаба Дибичу он предупредил того, что было бы нежелательно откладывать казнь даже на короткое время и что тело казненного Сергея Муравьева-Апостола в будущем ни коем случае нельзя выдавать его сестре.

Итак, сестре разрешили увидеться с братом.

«Бибикова явилась вся в черном, — вспоминал свидетель этой встречи, — и лишь только завидела брата, то бросилась к нему на шею с таким криком или страшным визгом, что все присутствовавшие были тронуты до

глубины души... С нею сделался нервический припадок, и она упала без чувств на руки брата, который сам привел ее в чувство. С большой твердостью и присутствием духа он объявил ей: «Лишь солнце взойдет, его уже не будет в живых». И бедная женщина рыдала, обнимая его колени. Комендант, чтобы прекратить эту раздирающую душу сцену, разрознил эти два любящие сердца роковым словом: «Пора». Ее понесли в экипаж полумертвую, его увели в каземат».

В ту же ночь Михаил Лунин услышал в каземате стихи, произнесенные по-французски:

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, не знаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он.

— Кто сочинил эти стихи? — спросил другой голос.

— Сергей Муравьев-Апостол...

Выдающийся деятель Южного общества, поднявший на восстание Черниговский полк и державшийся на допросах с необычайным достоинством, столь же мужественно готовился к смерти.

Николай I тем временем составил записку, прочитав которую через много лет, Лев Толстой, собиравший материал для романа о декабристах, написал В. В. Стасову: «Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос, мучивший меня...»

Так в чем же состоял этот «главный вопрос»?

Российский император самолично разработал ритуал смертной казни.

Вот он:

«В кронверке занять караул. Войскам быть в 3 часа. Сначала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом против знамен. Конвойным оставаться за ними, считая по два на одного. Когда все будут на месте, то командовать «на караул» и пробить одно колено похода. Потом г. генералу, командующему эскадроном и артиллерией, прочесть приговор, после чего пробить второе колено похода и командовать «на плечо». Тогда профосам сорвать мундир, кресты и переломить шпаги, чтобы потом бросить в приготовленный костер. Когда приговор исполнится, то вести их тем же

порядком в кронверк. Тогда возвести присужденных на смерть на вал, при коих быть священнику с крестом. Тогда ударить тот же бой, как для гонения сквозь строй, докуда все не кончится, после чего зайти по отделениям направо и пройти мимо и распустить по домам».

Страшный документ!

Особо если перечесть строки, адресованные им в тот же день императрице Марии Федоровне:

«Милая и добрая матушка!

Приговор состоялся и объявлен виновным. Не поддается перу, что во мне происходит; у меня какое-то лихорадочное состояние, которое я не могу определить. К этому, с одной стороны, примешано какое-то особое чувство ужаса, а с другой — благодарности господу богу, коему было благоугодно, чтобы этот отвратительный процесс был доведен до конца...»

Казнь и разжалование Николай I назначил на разное время: он не решался доводить осужденных до исступления. Он боялся их и в оковах.

Смертников уводили на рассвете...

«Я слышал шаги, слышал шепот, — вспоминал Евгений Оболенский, — но не понимал их значения. Прошло несколько времени, я слышу звук цепей. Дверь отворилась на противоположной стороне коридора: цепи тяжело зазвенели. Слышу протяжный голос друга неизменного Кондратия Федоровича Рылеева: «Простите, простите, братья!», и мерные шаги удалились к концу коридора; я бросился к окошку; начало светать... Вижу всех пятерых, окруженных гренадерами с примкнутыми штыками. Знак подан, и они удалились».

Осужденных к различным срокам вывели и, повернув спиной к крепости, поставили на колени. После чтения сентенции над их головами стали ломать шпаги. Мундиры и ордена были брошены в разведенные костры...

Одоевский стоял перед своим гвардейским полком.

Он смотрел в лица однополчанам.

Они опускали глаза...

Один поручик, георгиевский кавалер, отказался сопровождать на казнь смертников. «Я служил с честью, — сказал он, — и не хочу на склоне лет стать палачом людей, коих уважаю!»

Кавалергардский полковник граф Зубов тоже не пожелал присутствовать при наказании.

— Это мои товарищи, и я не пойду! — ответил он.

Император подобные ответы запоминал. А памятью его бог не обидел!..

13 июля. Казнили их на рассвете, на кронверке Петропавловской крепости.

Каждые полчаса в Царское Село мчались фельдъегери, извещая государя, что все идет «благополучно».

Генерал-губернатор Голенищев-Кутузов улыбался.

Через несколько часов он донесет императору:

«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чем вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу».

Да, троих вешали по второму разу!

— Боже мой! — морщась от боли, сказал поднявшийся Муравьев-Апостол. — И повесить-то порядочно в России не умеют!

Священник закрыл глаза.

По христианским законам вешать второй раз не полагалось. Но подскакавший к виселице генерал-губернатор закричал:

— Скорей вешайте их снова!..

В Рылееве вновь проснулся непокорный дух.

— Подлый опричник тирана! Дай же палачу свои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз!..

«Исторический день» настал...

Бунтовщики понесли заслуженную кару.

Помолившись в дворцовой церкви, Николай заперся в своем кабинете.

«Пишу на скорую руку — два слова, милая матушка, — сообщал он императрице, — желая вам сообщить, что все совершилось тихо и в порядке; гнусные и вели себя гнусно, без всякого достоинства... Сегодня вечером выезжает Чернышев и, как очевидец, может рассказать вам все подробности. Извините за краткость изложения, но, зная и разделяя ваше беспокойство, милая матушка, я хотел довести до вашего сведения то, что мне уже стало известным».

Император встревожен, как бы не вышло нового возмущения.

«Прошу вас соблюдать сегодня *величайшую осторожность,* — писал он начальнику генерального штаба Дибичу, — и в особенности передать Бенкендорфу, чтобы он удвоил свою деятельность и бдительность, то же следует предписать и войскам».

В тот же день Николай покинул Царское Село и уже из столицы послал императрице более подробное письмо.

Казненные увезены и закопаны на острове Голодай.

Впечатление в обществе от их смерти было огромным. Народ роптал, из уст в уста передавались крамольные стихи.

В Москве же состоялось молебствие.

Вся царская семья стояла посреди Кремля на коленях. Рядом — министры, сенаторы и гвардейские части... Гремели пушки.

Митрополит Филарет возносил благодарность богу.

Россия была потрясена...

«Никто не ожидал смертной казни, — вспоминал современник, один из любомудров и ближайший друг Владимира Одоевского А. Кошелев. — Во все царствование Александра I не было ни одной смертной казни, и ее считали вполне отмененною. С легкой руки Николая I смертные казни вошли у нас как бы в обычай... и уже не производили того потрясающего действия, какое произведено было известием о казни Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Пестеля и Каховского. Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, — нет возможности: словно каждый лишился своего отца или брата».

Узнав о казни, Петр Андреевич Вяземский (император сказал о нем Блудову: «Отсутствие его имени в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других») написал жене:

«При малейшей возможности, тот час вырвался бы я из России надолго... Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо... Я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни. Сколько жертв и какая железная рука пала на них...»

Так остро восприняли казнь пятерых современники, потому что до последнего дня не верили в нее.

«В обществе была надежда, — много позже, вспоминая о друзьях своих, двух Александрах, — Грибоедове и

Одоевском, признается А. А. Жандр, — что Николай простит или хоть не так тяжело накажет виновных главных лиц заговора. В тот самый день, когда их повесили, некоторые из близких мне людей видели отца Рылеева. Он был весел. Вот, стало быть, как сильна была надежда!»

Увы, надежды эти не оправдались.

Еще не успели остыть в холодной земле острова Голодай тела казненных на кронверке Петропавловской крепости, как 17 июля 1826 года из-под руки начальника Главного штаба барона Дибича появилась секретная директива:

«Государь Император Высочайше повелеть соизволил: преступников, осужденных Верховным уголовным судом, разослать по назначению следующим порядком:

Во-первых, начать отправление с разжалованных в солдаты... Всех их разослать немедленно с фельдъегерями...

Во-вторых, отправить с фельдъегерями... осужденных в крепостную работу...

В-третьих, отправить с фельдъегерями... на житье в Якутск... отставного полковника Александра Муравьева, наблюдая, чтобы он ехал в телеге, а не в своем экипаже...

В-четвертых...»

До мелочей разработало царское правительство план высылки декабристов в Сибирь.

25 июля 1826 года министерство внутренних дел предписало «всем гражданским губернаторам губерний, лежащих по тракту от С.-Петербурга до Иркутска, распорядиться заготовлением надлежащего числа лошадей для безостановочного проследования по тракту отправляемых из С.-Петербурга с 21-го июня преступников, осужденных Верховным уголовным судом».

Отправляли декабристов не знаменитой Владимиркой через Москву — Владимир — Казань... а по «Ярославскому тракту». Так распорядился Николай I.

Читинский острог стал местом сбора большинства осужденных. Длина пути от Петербурга до Читы около 6800 верст. На пути этом — 12 российских губерний, 35 городов, 284 почтовые станции (из них 175 сибирских)...

Первая партия ссыльных из Петропавловки отправлена была в Сибирь в час ночи на четырех телегах, в со-

провождении фельдъегеря и четырех жандармов... Евгений Оболенский, Артамон Муравьев, Александр Якубович и Василий Давыдов первыми проложили путь, по которому вскоре последовали их товарищи...

Для Александра Одоевского тяжелые двери Петропавловской крепости раскрылись лишь через полгода.

6

«Александр был эпохою в моей жизни. Ему я обязан лучшими минутами оной. В его сообществе я находил то, чего везде искал и нигде не находил».

(В. Ф. Одоевский)

Женившись на Ольге Ланской, Владимир переехал в Петербург, поселился на Моховой и поступил на службу в министерство народного просвещения, в Комитет иностранной цензуры.

Петербург жил еще недавними событиями, шептался в аристократических гостиных о пяти повешенных, ругал сидящих в крепости или сочувствовал им... Не было почти семьи, не оказавшейся в той или иной степени вовлеченной в прошлогоднее противоправительственное выступление.

Впоследствии, узнав о смерти брата Александра на Кавказе, Владимир спросит себя: «Был ли этот заговор своевременен? В нем участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России... им не удалось, но успех не был безусловно невозможен».

Тогда же он старался не думать об этом.

А это было трудно.

Александр томился в крепости. Вильгельм Кюхельбекер тоже... И с ними множество друзей и знакомых.

В Петербурге Владимира навещали Дмитрий Веневитинов, Владимир Титов, Александр Кошелев... Словом, общество собиралось почти в том же составе, что и раньше, в Москве.

Заезжал к Одоевскому и отец Александра Иван Сергеевич. Старый князь осунулся за последнее время и почернел лицом. Руки его нервно вздрагивали, и он торопливо прятал их за спину.

— Ничего хорошего, Володя! — отвечал он на немой вопрос племянника. — В сентябре с ним виделся. Страш-

но сказать, как изменился. Писал снова Бенкендорфу, да, видно, без толку...

— Не надо оставлять надежды, Иван Сергеевич!

— А-а!.. — князь Одоевский безнадежно махал рукой и начинал прощаться.

Дела требовали его отъезда в Николаевское.

Он же все медлил. Александра со дня на день могли отправить из Петербурга в Сибирь. Владимир еще молод, только что женился — не понять ему отцовского горя...

Женился Владимир Одоевский по любви.

«Княгиня превосходная женщина, очень приятная в обществе, с прекрасной душой, — писала в Сибирь мать Екатерины Трубецкой. — Живет только для своего мужа...»

По вечерам он запирался в своем кабинете и перебирал письма Александра: шутливые, серьезные и сердитые... Саша действительно был эпохой в его жизни... Хоть и старше всего на два года.

Мать Владимира происходила из крепостных крестьян Филипповых. Отец, князь Федор Сергеевич Одоевский, умер, когда сыну не было и пяти лет. Не забывая о «мезальянсе», родственники относились к мальчику довольно холодно.

Последние дни Владимир остро ощущал одиночество.

Александр и Вильгельм в крепости. Грибоедов в Тифлисе. Веневитинов хандрит и болеет. И если б не жена, не милая Оленька, — было б совсем худо.

Почти все его друзья пострадали.

А он?.. Он никогда не решился бы участвовать в восстании. Но душой всегда был с ними.

«Ты наш: тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее, — незадолго до смерти напишет ему из ссылки Вильгельм Кюхельбекер, — ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего бескорыстного стремления к художественной красоте и к истине безусловной».

7

Вечером первого февраля 1827 года широко, со скрипом, отворилась дверь в камеру Одоевского.

— Прошу вас, сударь, следовать за мной! — сказал остановившийся на пороге плац-адъютант.

Одоевский неторопливо оделся и вышел наружу.

Адъютант привел его к дому коменданта.

В большой, слабо освещенной прихожей узника ожидал сюрприз. Вглядевшись в темноту, он узнал в прислонившихся к стене Михаила Нарышкина и Петра Беляева.

— Михаил Михайлович!

— Саша? Одоевский?..

Они обнялись. Беляев похлопал Александра по плечу.

Дверь снова отворилась, и в комнату ввели Александра Беляева, в шубе и теплых сапогах.

— Какое общество! — патетически воскликнул он.

— Господа! — Тяжело стуча по полу деревянной ногой, к заключенным вышел комендант, генерал-адъютант Сукин. — Я имею высочайшее повеление, заковав вас в цепи, отправить по назначению!..

Беляев удивленно присвистнул.

— А куда нас отправляют, ваше превосходительство? — спросил Нарышкин.

— Сие до времени вам знать не полагается! — строго ответил Сукин и сделал знак стоявшим у двери сторожам.

Узников посадили на скамью, заковали ноги и дали каждому в руки веревочку для поддержания кандалов.

— Оковали, словно рабов, — угрюмо заметил Одоевский.

Оковы были не слишком тяжелы, но крайне неудобны и страшно грохотали при движении.

У крыльца уже стояло несколько троек.

— По одному в каждые сани!..

Рядом с заключенными уселись жандармы.

— Трогай!..

Одоевский оглянулся. Петропавловская крепость, в мрачном каземате которой он прожил больше года, осталась позади. По ту сторону оледеневшей Невы тускло светили окна Зимнего дворца.

Стояла глухая ночь... Сани бесшумно неслись по улицам Петербурга. Внезапно за поворотом показался большой дом графа Кочубея.

У подъездов стояли кареты, возле которых то и дело сновали жандармы. Из широких, ярко освещенных окон доносилась музыка.

Министр внутренних дел России давал бал...

Одоевский привстал в санях, рассматривая за окнами

мелькающие в танце пары, дам с веерами, и строки старого стихотворения, посвященного им князю Вяземскому, вдруг налились новой силой, обрели иной, резко обличительный смысл:

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица — свежей красотой.
Усталый, из толпы я скрылся,
И, жаркую склоня главу,
К окну в раздумье прислонился
И загляделся на Неву.
. . . .
Стоял я долго. Зал гремел...
Вдруг без размера полетел
За звуком звук. Я оглянулся,
Вперил глаза, весь содрогнулся,
Мороз по телу пробежал.
Свет меркнул... Весь огромный зал
Был полон остовов... Четами
Сплетясь, толпясь, друг друга мча,
Обнявшись желтыми костями,
Кружася, по полу стуча,
Они зал быстро облетали.
Лиц прелесть, станов красота —
С костей их — все покровы спали,
Одно осталось: их уста,
Как прежде, все еще смеялись;
Но одинаков был у всех
Широких уст безгласный смех.
Глаза мои в толпе терялись,
Я никого не видел в ней:
Все были сходны, все смешались...
Плясало сборище костей.

Сани тем временем летели дальше.

Александр оглянулся на город в последний раз...

Было безветренно... Отвесно падал мелкий неслышный снег.

— Наденьте картуз, барин! — недовольно пробурчал жандарм. — Не положено! Застудитесь. Велено в целости вас доставить.

Александр усмехнулся.

Возле заставы лошади стали. Беляевых пересадили в одни сани, Одоевский поместился с Нарышкиным. В сани фельдъегеря, кряхтя, перебрались два жандарма, в остальные сели по одному, и... зазвенели в ночной тишине колокольчики.

Дорога быстро измучила узников, ослабевших от многих месяцев казематной жизни.

Остановки в городах и селах были редки и непродолжительны, жандармы вели себя вполне прилично, местное население встречало сосланных приветливо... Изредка власти разрешали «государственным преступникам» снимать на время оковы, которые на морозе быстро леденели и причиняли немало неудобств.

Нарышкин впал в ипохондрию.

Братья Беляевы держались с трудом.

Одоевский тоже находился в отчаянном положении. Мысль о разбитой жизни, о несчастном отце терзала его нещадно.

Как не хотелось ему в Сибирь!..

«Кому же хочется? — горько усмехнулся он своим мыслям. — Михайле?.. Или братьям-морякам? Ан дело сделано, и нужно крест нести свой до конца!..»

...В Тобольске их встретил ревизовавший Сибирь сенатор Куракин.

Начавший полнеть и лысеть князь в светлом щегольском сюртуке, снисходительно улыбаясь измученным дорогой путникам, спрашивал:

— Всем ли довольны вы, господа? Нет каких-либо неудобств?

— Кандалы обременительны, ваше превосходительство! Нельзя ли?.. — сказал Нарышкин.

— Ах! — не дослушав его, всплеснул холеными руками Куракин. — Это, господа, не в моих силах.

Томск проехали быстро. В Красноярске ненадолго задержались, сменили лошадей; наконец за снежными холмами показался Иркутск, а за ним скоро блеснул голубым льдом Байкал.

20 марта, пробыв пятьдесят дней в пути, они въехали в небольшое село Чита.

Тройки пролетели по единственной сельской улице, обстроенной покосившимися деревянными хибарами, и, развернувшись возле стоявшей на пригорке церкви, въехали в тюрьму, обнесенную высоким частоколом из толстых бревен.

Вновь прибывших встретила большая группа людей в тюремных халатах.

— Александр Иванович! Добро пожаловать в наши каторжные норы!..

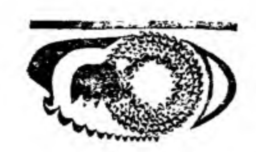
— Прибыли! — вздохнул Петр Беляев.

— Проходите, господа, в острог! — сказал фельдъегерь. — Располагайтесь в комнате на нарах.

Стоял мороз... Над Читой высоко сияло большое холодное солнце. За забором в версте темнел сосновый лес.

«Живут же и здесь люди!» — пытался успокоить себя Одоевский.

Но солнце над селом внезапно помутнело и стало расплываться. И потому он торопливо провел ладонью по вспухшим глазам.





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда-нибудь, раскрыв в стране своей родной
Альбом, где чувств моих найдешь оттенок
слабый,
Ты вспомнишь край полночный, одичалый,
Где мы в изгнании боролися с судьбой.

Н. Ф. Заикин

1

Итак, Сибирь, Читинский острог...

Он представлял из себя небольшое село, расположенное на холме и окруженное со всех сторон высокими горами. С запада острог огибала холодная прозрачная река Ингода.

К началу 1827 года в Чите было около пятидесяти домов, деревянная церковь и горное комиссионерство с провиантским и соляным магазинами...

Сперва ссыльных поместили в двух маленьких домах. Месяца через четыре выстроили новый большой острог. В сентябре того же года его заселили пятьдесят пять «государственных преступников». Большой каземат состоял уже из пяти комнат, не считая сеней. Четыре из них отвели для заключенных, а в пятой — дежурной — находились два унтер-офицера. Вместо нар в остроге были сделаны двойные кровати с расстоянием между ними, достаточным для свободного прохода лишь одного человека. В потолке для воздуха пробили продушины. В старом каземате организовали временный лазарет, караул в котором держали казаки. В прочих местах — солдаты Читинской инвалидной команды.

Летом и ранней осенью «государственные преступни-

ки» до пяти часов дня занимались земляными работами: рыли для частокола ров, поднимали на главной улице дорогу, заваливали огромный овраг, промытый стоками горной воды и дождя и прорезавший дорогу через село...

Рабочими орудиями им служили заступ, лопата, кирка и топор. Песок и землю они возили на тачках и носили на носилках.

С наступлением морозов в специальном домике были устроены ручные мельницы и жернова, на которых заключенные мололи ржаную муку. Два с половиной часа до обеда и столько же после...

Остальное время ссыльные проводили в совместных беседах на научные и литературные темы, в чтении книг и в игре на различных музыкальных инструментах... В такие часы в комнатах, где они жили, стоял невообразимый шум. Но скоро и к нему привыкли.

С приходом вечерней зари назначалась перекличка, потом двери острога крепко запирались и открывались лишь рано утром.

Зимой в комнатах Большого каземата, заставленных кроватями, обеденным столом и скамьей, было не только тесно, но и холодно и темно. Окна с железными решетками покрывались толстым слоем льда...

Но жить можно было и здесь. Лишь бы не сдаться, не пасть духом, как в крепости!..

И этого не произошло, пожалуй, по единственной причине, о которой позже так хорошо скажет Михаил Бестужев:

«Каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг в друге и, наконец, через наших ангелов-спасителей, дам, соединил нас с тем миром, от которого навсегда мы были оторваны политической смертью... дал нам охоту жить... доставил моральную пищу для духовной нашей жизни. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти».

Бестужев здесь, несомненно, прав.

Соединив декабристов, чтоб легче было наблюдать за ними, Николай I жестоко ошибся. Быв вместе, они не потеряли веры в жизнь, в свои идеалы, поддерживали друг друга и морально и материально.

Это одно. Другая и немаловажная причина их жизнестойкости — женщины, жены, приехавшие навсегда к мужьям в далекую Сибирь. Их было одиннадцать.

Первой появилась на каторге княгиня Трубецкая,

урожденная графиня Лаваль. Преодолев невероятные затруднения, отказавшись от роскоши и блестящей петербургской жизни, она проторила дорогу в «каторжные норы» другим женщинам...

29 сентября 1826 года Вяземский писал Жуковскому и Александру Тургеневу:

«Трубецкая... поехала за мужем и вообще все жены, кажется, следуют этому примеру. Дай бог, хоть им искупить гнусность нашего века...»

А в январе 1827 года им же: «На днях видели мы здесь (в Петербурге. — *В. Я.*) проезжающих далее Муравьеву-Чернышеву и Волконскую-Раевскую. Что за трогательное и возвышенное отречение! Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них, точно, была видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которая не думает о славе, а увлекается, поглощается одним чувством, тихим, но всеобъемлющим, всеодолевающим. Тут ничего нет для галлереи, да и где у нас галлерея? Где публичная оценка деяний?»

История оценила самоотверженность этих женщин. Подвиг их воспели писатели и поэты. И первым из них, по всей вероятности, Александр Одоевский.

Был край, слезам и скорби посвященный,
Восточный край, где розовых зарей
Луч радостный, на небе том рожденный,
Не услаждал страдальческих очей;
Где душен был и воздух вечно ясный,
И узникам кров светлый докучал.
И весь обзор, обширный и прекрасный,
Мучительно на волю вызывал.

Вдруг ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны,
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены.
И вестники благие провиденья
Явилися, как дочери земли,
И узникам, с улыбкой утешенья,
Любовь и мир душевный принесли.

. . . .

В затворниках печали все уснули,
И лишь они страшились одного,
Чтоб ангелы на небо не вспорхнули,
Не сбросили покрова своего.

Несмотря на жестокие условия, жены «государственных преступников» ехали в Сибирь.

Осенью 1827 года в Читинский острог прибыли Е. П. Нарышкина («маленькая, очень полная, несколько аффектированная, но, в сущности, вполне достойная женщина; надо было привыкнуть к ее гордому виду, и тогда нельзя было ее не полюбить»)[1] и А. В. Ентальцева («Этой прекрасной женщине минуло уже 44 года; она была умна, прочла все, что было написано на русском языке, и ее разговор был приятен»)... У Александрины Муравьевой «было горячее сердце, благородство проявлялось в каждом ее поступке; восторгаясь мужем, она его боготворила...». «Каташа (Трубецкая. — *В. Я.*) была нетребовательна и всем довольствовалась, хотя выросла в Петербурге, в великолепном доме Лаваля, где ходила по мраморным плитам, принадлежавшим Нерону, приобретенным ее матерью в Риме, — но она любила светские разговоры, была тонкого и острого ума, имела характер мягкий и приятный...» «Фонвизина приехала вскоре после того, как мы устроились; у нее было совершенно русское лицо, белое, свежее, с выпуклыми, голубыми глазами; она была маленькая, полненькая, при этом очень болезненная; ее бессонницы сопровождались видениями; она кричала по ночам так, что слышно было на улице...»

Весной 1828 года к бывшему кавалергардскому офицеру И. А. Анненкову приехала его невеста, француженка Полина Гебль, также преодолевшая массу препятствий для того, чтобы навек соединиться в Сибири с любимым. «Это была молодая француженка, красивая, лет 30; она кипела жизнью и весельем и умела удивительно выискивать смешные стороны в других. Тотчас по ее приезде комендант объявил ей, что уже получено повеление его величества относительно ее свадьбы. С Анненкова, как того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но по возвращении их опять на него надели. Далее проводили м-ль Поль в церковь; она не понимала по-русски и все время пересмеивалась с шаферами — Свистуновым и Александром Муравьевым. Под этой кажущейся беспечностью скрывалось глубокое чувство любви к Анненкову, заставившее ее отказаться от своей родины и от независимой жизни... Она осталась предан-

---

[1] Здесь и далее характеристики М. Н. Волконской.

ной женой и нежной матерью; она работала с утра до вечера, сохраняя при этом изящество в одежде и свой обычный говор. На следующий год к нам приехала Давыдова...»

Жены жили отдельно от мужей, свидания разрешались два раза в неделю...

«Государственные преступники» в Читинском остроге с удивительной энергией обживались на новом месте. В 1828 году ссыльные устроили во дворе Большого каземата столярную мастерскую — мебель теперь была собственного производства. Привезли и токарный станок, на котором стал работать Артамон Муравьев. П. Громницкий неплохо столярничал. В переплетной мастерской начали приводить в порядок поистрепавшиеся в дальнем пути книги.

В острог привезли рояль и фортепиано. После работы ссыльные собирались в небольшом домике, устраивали спевки, готовили концерты. Петр Свистунов, будучи прекрасным виолончелистом, создал недурной хор.

Камер в Большом каземате было четыре: «Псков», «Новгород», «Москва» и «Вологда». Жило в них от пятнадцати до двадцати человек. В центре камеры — стол, заставленный по вечерам шахматными досками.

Летом, в жаркое время, ходили под охраной купаться на Ингоду и Читинку, где своими руками оборудовали купальни.

Шесть копеек медью и два пуда муки в месяц отпускало правительство на содержание каждого «государственного преступника».

Ссыльные объединились в артель, в своеобразную коммуну, занимавшуюся общим хозяйством. Каждый из ссыльных вносил в общий котел «кто сколько может». С помощью артели было организовано приличное хозяйство: обед из двух блюд, ужин, утром и вечером чай с молоком.

Выходившие на поселение получали на первое обзаведение из артельного котла деньги. Большим подспорьем стали огороды, где они сажали картофель, зелень, капусту... Александр Поджио умудрялся выращивать даже арбузы и дыни.

В князе Оболенском каторга выявила незаурядного портного, Петр Фаленберг великолепно шил симпатичные фуражки, князь Сергей Трубецкой быстро штопал чул-

ки... Нашлись в их среде и плотники, и слесаря, и башмачники...

Николай Бестужев оставил по себе в Сибири большую и благодарную память. Прекрасный художник, создавший бесценную галерею портретов своих товарищей, блестящий ученый, изобретший поливальную машину, «сидейку» (двухколесную тележку на деревянных рессорах) и множество других полезных вещей. Ни минуты он не сидел без дела...

Периодические издания стали появляться в Читинском остроге после «высочайшего разрешения» в 1828 году. «Запас книг... составился и был пущен в общее пользование из всего, — по словам М. Бестужева, — что было привезено каждым из нас и что было получено нашими дамами по назначению их мужей».

И наконец, в Читинском остроге заработал «декабристский университет»...

Многие из ссыльных получили широкое классическое образование. Долгими зимними вечерами они читали товарищам лекции: Никита Муравьев, имевший превосходное собрание военных карт, читал по памяти стратегию и тактику, доктор Вольф — физику, химию и анатомию, Корнилович и Муханов прекрасно знали историю России, Александр Одоевский знакомил своих друзей с русской словесностью...

Скоро занятия «каторжной академии» стали более регулярными, большее время уже отводилось литературным беседам. Михаил Бестужев прочел две повести, барон Розен — свои переводы из немецкой поэзии, Одоевский, которого заключенные прозвали «наш славный поэт», посвятил стихотворение Никите Муравьеву как президенту Северного общества...

Растроганные дамы послали ему венок.

И не зря!

«Главный поэт» сибирской каторги работал в Читинском остроге много и плодотворно.

В сторону отошла хандра, он снова ожил, душа распахнулась, и мир вошел в нее со всей его красотой, звуками и запахами.

Плывут ли в небе облака...

Скачет ли за рекой на лихом коне малорослый бурят...

Повиснет ли над острогом разгоряченное, как девичьи щеки, сибирское солнце...

На все отзовется чуткое поэтическое сердце.

Александр написал грамматику русского языка, а придя на свою первую лекцию, «он сел в углу с тетрадью в руках, начал с разбора песни о походе Игоря, продолжал несколько вечеров и довел лекции до состояния русской словесности в 1825 году. Окончив последнюю лекцию, он бросил тетрадь на кровать, и мы увидели, что она была белая, без заметок, без чисел хронологических и что он все читал на память».

30 августа 1828 года ссыльные праздновали именины своих товарищей — шестнадцати Александров.

Был дан концерт... На столах появилось привезенное еще из Петербурга вино. Федор Вадковский играл на скрипке, Свистунов на виолончели. Алексей Тютчев прекрасным баритоном пел арии из оперы Вебера «Вольный стрелок». Хором пели «Марсельезу»...

Александр Барятинский, помрачнев, вспомнил дни, проведенные в темницах Петропавловской крепости.

Темнеет... Куранты запели...
Все тихо в вечернем покое.
Дневные часы отлетели,
Спустилось молчанье ночное.
И время, которое длило
Блаженства земного мгновенья,
Крылом неподвижным накрыло
Печаль моего заточенья... [1]

Потом слушали Одоевского.

Обычно жизнерадостный и скептичный, сегодня Михаил Лунин был грустен, сидел в углу полутемной камеры и молча разглядывал товарищей.

Оглядывался ли он на жизнь, готовился ли к истинному своему поприщу, — обличению царского самодержавия, чем вызвал впоследствии на себя сильнейший гнев Николая I, — предчувствовал ли свою страшную участь и насильственную смерть?.. Трудно сказать! Но был печален он в этот вечер...

Александр оперся рукой о спинку кровати.

Стихи, слезами закипавшие на его сердце, просились наружу. И он не заставил себя ждать, только поднял глаза к маленькому окну, за решеткой которого летело потемневшее от печали сибирское небо.

— Тризна! — сказал он. — Посвящаю Вадковскому!..

---

[1] Перевод с французского Милицы Нечкиной.

Утихнул бой Гафурский. По волнам
Летят изгнанники отчизны.
Они, пристав к Исландии брегам,
Убитым в честь готовят тризны.
Златится мед, играет меч с мечом...
Обряд исполнили священный,
И мрачные воссели пред холмом
И внемлют арфе вдохновенной.

Скальд

Утешьтесь о павших! Они в облаках
Пьют юных Валкирий живые лобзанья.
Их чела цветут на небесных пирах,
Над прахом костей расцветает преданье.
Утешьтесь! За павших ваш меч отомстит.
И где б ни потухнул наш пламенник жизни,
Пусть доблестный дух до могилы кипит,
Как чаша заздравная в память отчизны.

Потом он читал переводы из Мура, свои стихи...
И Федор Вадковский вместе со всеми слушал его.

Будь вольной, великой и славой греми,
Будь цветом земли и жемчужиной моря.
И я просветлею, чело вознесу,
Но сердце тебя не сильнее полюбит:
В цепях и крови ты дороже сынам,
В сердцах их от скорби любовь возрастает,
И с каждою каплею крови твоей
Пьют чада любовь из живительных персей.

— Браво, Александр! — сказал Иван Пущин. — Тебе бы издать их.

Одоевский засмеялся.

— И в самом деле! — загорелся Петр Муханов по прозвищу Рыжий Галл.

— Господа! — подняв руки, остановил товарищей Александр. — Вы, кажется, забыли, что мы не в Петербурге. А в остроге нет типографий.

— Так вспомним весну 1825 года, — вмешался в разговор Дмитрий Завалишин. — Когда мы переписывали «Горе от ума» Грибоедова. Мы и сейчас можем рукописно, через наших дам...

— То ж Грибоедов! — внезапно потухшим голосом пробормотал Одоевский, сгорбился и сел на кровать.

За окошком крикнула птица, зло и угрожающе.

«Саша, — подумал он. — Читал в газетах я, что ты сейчас в Петербурге. Мир Туркманчая, слава, ордена и деньги... Все это хорошо. Но помнишь ли друзей, затерянных в холодной сибирской пустыне? Не слышится ли по ночам наш голос?..»

2

Я дружбу пел... Когда струнам касался,
Твой гений над главой моей парил,
В стихах моих, в душе тебя любил
И призывал и о тебе терзался!..

Часы пробили четыре раза...

Грибоедов долго ходил по комнате, глядя на занимающийся за окном рассвет, на стол, где топорщился прижатый громоздкой чернильницей лист чистой бумаги.

«Как же, статский советник! — горько усмехнулся он. — Столько наград: 4 тысячи червонцев, Анна 2-й степени с бриллиантами и, наконец, пост полномочного министра в Персии. А все попусту! И ехать не хочется, все равно, что в западню. Секретарь британской миссии в Тавризе Кемпбелл, будучи проездом в Петербурге, не случайно бросил: «Берегитесь! Вам не простят Туркманчайского мира!» Что ж, этим его не запугать! Однако Аллаяр-хан действительно бешено ненавидит его и любым случаем воспользуется. Да будет проклят тот день, когда он согласился пойти в Иностранную коллегию! Как нынче хотелось выйти ему в отставку. Недавно виделся он у Жуковского с Пушкиным, Вяземским и Крыловым. Вместе мечтали о европейском набеге: отправиться в Лондон на пироскафе, затем недельки на три в Париж... Четыре литератора! Такие путевые записки бы издали!.. А тут! Попробуй откажись теперь, после всех наград и славословий! И матушка непрерывно напоминает о службе у Паскевича, даже на коленях молила о том. Тяжко, скверно... Но главное, Саша Одоевский, «любимое дитя выбора», по сию пору незаживающая его рана...»

Грибоедов вспомнил побелевшее лицо Николая I, его вспыхнувшие глаза, когда в ответ на слова государя о личной просьбе посланца Туркманчая он осмелился заикнуться о ссыльных по декабрю...

Грибоедов взял в руки перо и быстро дописал стихотворение:

О мой творец! Едва расцветший век
Ужели ты безжалостно пресек?
Допустишь ли, чтобы его могила
Живого от любви моей сокрыла?..

Утром он поехал к Константину Христофоровичу Бенкендорфу, своему старому кавказскому знакомому.

— Рад видеть вас, Александр Сергеевич! Не слишком

ли обременяет слава? В столице по сей день не стихают разговоры о вашем высоком назначении.

— Уже торопят, Константин Христофорович! Еду скоро, — устало произнес Грибоедов, протирая платком запотевшие стекла очков.

— Что так невесело?

— Посильна ли для меня эта ноша?

— Что вы, батенька! По заслугам и честь. В данном случае скромность не к месту.

Грибоедов неопределенно качнул головой.

— Как поживает ваш брат?

— Кстати, напомнили! Не откажите вместе поехать к нему отобедать. После нашей последней встречи Александр очень мило отзывался о вас.

— Хорошо! — быстро ответил Грибоедов.

Начальник III отделения, генерал-адъютант Бенкендорф встретил брата и полномочного министра приветливо.

Обед проходил неторопливо...

Лакеи бесшумно сменяли блюда, разносили легкое кахетинское, которое так любил Константин Христофорович.

Елизавета Андреевна, почти не прикасаясь к еде, строго следила за дворовыми и в мужской разговор не вмешивалась.

Внезапно по оконным стеклам застучали крупные капли дождя.

— Как надоел он мне в последнее время! — пожаловался Александр Христофорович и приложил руку к груди. — Лишь зарядит — сердце начинает ныть. Скучно в городе становится.

— Гнилое место! — согласился Грибоедов.

— Однако, — заметил хозяин, — некоторых российских поэтов восторгает буйное пиршество кавказских красок.

— Смотря в каком положении сей пиит.

— Не совсем вас понял, mon cher!

— Принужден служить или по своей воле, — нехотя пояснил Грибоедов.

Начальник III отделения внимательно посмотрел на него, добродушно улыбнулся и покачал головой:

— Понимаю, милый Александр Сергеевич, понимаю! В вас говорит достоинство дворянина, оскорбленное некогда неосновательными подозрениями.

— Не обо мне речь, Александр Христофорович! Душа болит о близких, заблудших, втянутых по молодости в это злополучное несчастье.

— Чья несчастная судьба тревожит вас более других?

— Брата моего Александра Одоевского!.. — с горячностью воскликнул Грибоедов, но тут же осекся и негромко добавил: — Заблуждения юности сгубили его. И вот — убитый горем отец.

— Каждый человек вершит свою судьбу.

— Он был так неопытен.

— Хотите написать письмо вашему брату?

— Одоевскому? — Грибоедов приподнялся с места.

— Да! В Читинский острог.

— Но как?

— Пошлем официальным путем, через отделение...

Генерал-адъютант встал, взял гостя под руку и повел его в кабинет.

— Вот лист бумаги. Пишите...

«С чего бы это он? — подумал Грибоедов. — Минутный порыв? Великодушный жест всесильного сановника? И что написать, ежели письмо все равно пойдет через чужие руки?..»

Но медлить он не стал и, сев за стол, поднял перо...

«Брат Александр. Подкрепи тебя бог. Я сюды прибыл на самое короткое время, прожил гораздо долее, чем полагал, но все-таки менее трех месяцев...» — На секунду остановившись, он поднял глаза.

Бенкендорф стоял у высокого окна и смотрел на проплывающие по Неве барки. Плечи у генерала чуть отвисли, лицо напряглось. Казалось, он о чем-то жалел.

«...Бедный друг и брат! Зачем ты так несчастлив. Теперь ты бы порадовался, если бы видел меня гораздо в лучшем положении, нежели прежде, но я тебя знаю, ты не останешься равнодушным при получении этих строк и там... вдали, в горе и в разлуке с ближними.

Осмелюсь ли предложить утешение в нынешней судьбе твоей! Но есть оно для людей с умом и чувством. И в страдании заслуженном, — он вздохнул после этого слова, — можно сделаться страдальцем почтенным. Есть внутренняя жизнь нравственная и высокая, независимая от внешней. Утвердиться размышлением в правилах неизменных и сделаться в узах, в заточении лучшим, нежели на самой свободе. Вот подвиг, который тебе предстоит. Но кому я это говорю? Я оставил тебя прежде твоей

экзальтации в 1825 году. Она была мгновенна, и ты верно теперь тот же мой кроткий, умный и прекрасный Александр, каким был в Стрельне и в Коломне в доме Погодина. Помнишь, мой друг, во время наводнения, как ты плыл и тонул, чтобы добраться до меня и меня спасти...»

— Александр Сергеевич, — услышал он голос Бенкендорфа. — Могу заверить положительно, что в скором времени государь дозволит этим несчастным читать одобренные цензурой книги.

«...Слышу, что снисхождением высшего начальства тебе и товарищам твоим дозволится читать книги. Сейчас еду покупать тебе всякой всячины, реестр приложу возле...»

— Ну вот видите, Александр Сергеевич! И мы не так страшны, как иной раз величают журналисты! — взяв в руки письмо, сказал Бенкендорф. — И у нас за мундиром есть сердце.

«Разве такое письмо написал бы я, кабы шло оно не этим путем!» — с горечью вздохнул Грибоедов.

А вслух сказал:

— Можно ли что-то сделать еще?

— Не время сейчас, не время! Необходимо подождать. Эти злосчастные события еще свежи в памяти государя.

«Уже успел в том убедиться!» Грибоедов торопливо поднялся и стал прощаться.

— Заезжайте перед отъездом, Александр Сергеевич! Вы у нас желанный гость...

3

«...не без пользы протекло это время (в Читинской тюрьме. — *В. Я.*) для Ивана Дмитриевича: он умел возбудить в юношах, бывших с нами, желание усовершенствоваться в познаниях, ими приобретенных, и помогал им по возможности и советом и наставлением. Часто по целым часам хаживал он с юным Одоевским и возбуждал его к той поэтической деятельности, к которой он стремился».

(Е. П. Оболенский)

Все впечатленья в звук и цвет
И слово стройное теснились;
И музы юношей гордились
И говорили: «Он поэт!..»
Но нет, — едва лучи денницы

Моей коснулися зеницы —
И свет во взорах потемнел:
Плод жизни свеян недоспелый!
Нет! Снов небесных кистью смелой
Одушевить я не успел...

— Я не слышал этого, Александр.

— Вчера сочинил, Иван Дмитриевич. Ночь была лунная, тихая, но мне не спалось — не столько от усталости, сколько от беспорядочных мыслей, приходивших в голову. Через наших женщин получил из дома письмо, а в нем стихотворения Веневитинова. Вы помните, о смерти этого поэта писали газеты в прошлом году?

— Я читал его стихи. Удивительный юноша, хоть и несколько экзальтированный в поэтическом выражении.

Они работали на тюремном огороде.

Солнце уже клонилось к закату.

Ходивший неподалеку солдат из инвалидной команды, продрогнув, с удивлением косился на господ, упорно возившихся на сыром ветру в земле.

— Он хорошо знал моих родных: Володю, Вареньку Ланскую... Я же видел его в жизни один или два раза. Умереть, не дожив и до двадцати двух лет, — столь трагичная судьба заставила меня о многом задуматься. Я ночью смотрел на тюремные решетки, и в душе рождались стихи об умершем поэте. Строки порой обращались ко мне, и тогда в них звучал пророческий смысл...

Глас песни, мною недопетой,
Не дозвучит, в земных струнах,
И я — в нетление одетый —
Ее дослышу в небесах.
Но на земле, где в чистый пламень
Огня души я не излил,
Я умер весь... И грубый камень,
Обычный кров немых могил,
На череп мой остывший ляжет
И соплеменнику не скажет,
Что рано выпала из рук
Едва настроенная лира,
И не успел я в стройный звук
Излить красу и стройность мира.

— Грустное стихотворение. Не понимаю, почему ты никогда не записываешь своих стихов? Импровизация — прекрасная вещь, однако... Я помню, в Каменку, к Василию Давыдову, приехал Пушкин...

— Иван Дмитриевич! — воткнув заступ в землю, печально улыбнулся Одоевский. — Ну разве можно срав-

нивать? При имени Пушкина у меня холодеет на сердце и опускаются руки...

— Я не о сравнении — об отношении к пиитическому труду!

— Лишь набросаю на бумагу строки, как ясно вижу их незрелость, нарочитость, а нередко и беспомощность.

— Ты слишком строг к себе!

— Отнюдь, Иван Дмитриевич! Просто знаю о своих возможностях и потому реально смотрю на вещи.

Якушкин укоризненно развел руками.

В Петербурге Иван Дмитриевич оставил двух малолетних детей. Жене он не разрешил приезжать к нему, пока дети не подрастут и не окрепнут.

Участвуя почти во всех крупных сражениях Отечественной войны с Наполеоном, будучи одним из учредителей ранних тайных обществ — «Союза спасения» и «Союза благоденствия», — после своего ареста в Москве Якушкин мужественно держался на допросах в Следственном комитете.

Для Николая I была составлена о нем следующая справка:

«Был в числе основателей Общества. В 1817 году, будучи томим несчастною любовью и готов на самоубийство, вызвался на совещании в Москве покуситься на жизнь покойного императора. Вскоре после того от Общества отстал, но в 1819 г. снова присоединился к оному. В 1820 г. ездил в Тульчин приглашать уполномоченных на съезд в Москву по делам Общества. По мнимом закрытии оного в 1821 г. ему дан был список с устава для заведения Управы в Смоленской губернии, но в 1822 г., по обнародовании высочайшего указа об уничтожении тайных обществ всякого рода, он сжег список сей и более никаких сношений по Обществу не имел. В 1825 г., 16 или 17 декабря, услышал он о полученном из С.-Петербурга предварительном известии насчет возмущения...»

— Все возитесь? — подойдя к огороду, спросил Петр Муханов. — А у меня к Александру разговор.

Якушкин хотел уйти.

— Останьтесь, прошу вас, Иван Дмитриевич! — остановил его Муханов. — Как раз вас-то и прошу помочь мне в этом деле.

Якушкин вопросительно посмотрел на него.

Муханов был живописен: огромного роста, с пышными усами и копной огненно-рыжих волос.

«Поистине Рыжий Галл!» — улыбнулся Одоевский.

— Дело в том, что я мечтаю составить и издать альманах в пользу невольно заключенных! — возбужденно заговорил Муханов. — Хотел бы просить Александра Ивановича, нашего главнейшего поэта, помочь мне в том.

— А именно?

— Зная нелюбовь Александра к письменному начертанию собственных поэтических строк, с его слов могу сам составить тетрадку стихотворений...

— Но!.. — хотел возразить Одоевский.

— Саша! — сказал Якушкин. — Неужли ты не веришь в искренность и благородность намерений Петра Александровича?

— Вовсе нет!

— Тогда не спорь. Гляжу, без дружеских увещеваний тебе не обойтись.

— А не удастся свой альманах, — сказал обрадованный Муханов, — пошлем в Россию, к друзьям. Уверен — помогут! С пересылкой вызвалась помочь Marie Волконская. Она с княгиней Верой Федоровной Вяземской в тесной дружбе.

«А может, и впрямь попробовать? — задумался Одоевский. — Чем черт не шутит! Вдруг...»

— Пошли, Петр! — решительно сказал он и с силой воткнул заступ в раскисшую землю.

4

«Оба эти стихотворения появились в Иркутске в рукописных списках в одно и то же время. Так рассказывали сибиряки».

(Е. Ф. Сверчкова)

Какой волшебною одеждой
Блистал пред нами мир земной!
С каким огнем, с какой надеждой,
С какою детской слепотой
Мы с жизнию вступали в бой.
Но вскоре изменила сила,
И вскоре наш огонь погас;
Покинула надежда нас,
И жизнь отважных победила!..

...Из Шлиссельбурга Вильгельма в октябре 1827 года перевели в Динабургскую крепость. Привезенный в январе 1826 года в Петропавловку, он первые месяцы пал

духом, путался в показаниях, каялся, ругал себя, что так глупо попался в Варшаве. Знал ли он, что польская столица была буквально обклеена его приметами, столь выразительно отмеченными одним из хороших знакомых...

«По распоряжению Полиции отыскивается здесь Коллежский Асессор КЮХЕЛЬБЕКЕР, который приметами: росту высокого, сухощав, глаза на выкате, волосы коричневые, рот при разговоре кривится, бакенбарды не растут; борода мало заростает, сутуловат и ходит немного искривившись; говорит протяжно, от роду ему около 30-ти лет. — Почему поставляется в непременную обязанность всем хозяевам домов и управляющим оными, что если таких примет человек у кого окажется проживающим или явится к кому-либо на ночлег, тотчас представить его в Полицию; в противном случае с укрывателями поступлено будет по всей строгости законов...»

И вот он уже год в Динабурге.

А за тюремной решеткой голубое осеннее небо, за окном 19 октября 1828 года — лицейский день. Что делают сейчас его сибирские друзья — Пущин, Бестужев и Одоевский?.. Чем занят Грибоедов, которому он тайно послал письмо: «...Мне не представится уже другой случай уведомить тебя, что я еще не умер, что люблю тебя по-прежнему; и не ты ли был лучшим моим другом?..»

Вспомнили ли день Лицея и горькую участь друзей Дельвиг и Пушкин? Ах, Пушкин!.. Так неожиданна и коротка была наша последняя встреча!

...От бурь и горя вдалеке,
В уютном мирном уголке
Ты празднуешь ли день священный,
День, сердцу братьев незабвенный?
Моих друзей далекий круг!
Воспомнит ли в сей день священный,
В день сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?..

...А Пушкин в этот день был не один. Собрались его лицейские товарищи: Дельвиг, Илличевский, Комовский, Яковлев, Тырков...

Он лично записал протокол собрания, который после веселья, вина и воспоминаний закончил четверостишием:

Усердно помолившись богу,
Лицею прокричав *ура*,
Прощайте, братцы, мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.

Он собирался в эту ночь уехать в Тверскую губернию, в Малинники, к Вульфам. Лицейские друзья ушли, и тогда он сел за стол. Ибо вино не принесло веселья: уста смеялись — душа печалилась. Она кровоточила и укоряла его, рождались в ней горькие строки... Нет, не забыть ему друзей, томящихся сейчас в хладной Сибири! Нет, не забыть ему далекий свет: бесценного Пущина и милого Вилю! Простите меня, друзья, благословляю вас и призываю к мужеству! Только оно может спасти вас за тюремными затворами!..

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора [1].

Над Петербургом — ночь. Грохотала по мостовой чья-то запоздалая карета, и снова тихо, только пламя одинокой свечи, стоящей на столе, чуть колеблется в неловких порывах ветра да скрипит гусиное перо...

Он обязательно пошлет стихотворение в Сибирь, пошлет Муравьевой с верной оказией. Пусть передаст и мужу и его друзьям. Дойдет письмо! Должно дойти...

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут —и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Письмо заколесило по бескрайним русским дорогам...

Грибоедов был на пути в Тегеран. В Тавризе он основательно застрял. Задерживали дела, беременная жена и нежелание ехать...

---

[1] Еще М. К. Азадовский установил, что это стихотворение было написано Пушкиным в 1828 году и называлось «19 октября 1828 года». Оно было доставлено в Читу А. Г. Муравьевой кем-то из сибирских купцов.

«Отъезд мой в Тегеран был отсрочен по случаю отсутствия самого шаха из столицы, — писал он в Петербург. — Теперь хочу прибыть туда несколькими днями прежде его. Но не думаю, что там будет обильное поприще для дипломатической деятельности, потому что он и его министерство спят в сладком успокоении и все дела с Россиею, с Турциею и Англиею поручены Аббас-Мирзе...»

Настроение у него было отвратительным, воспоминания давили, мучили дурные предчувствия...

Мы молоды и верим в рай, —
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брезжущим виденьем.
Постойте!.. Нет его! угасло! —
Обмануты, утомлены...
И что ж с тех пор? — Мы мудры стали,
Ногой отмерили пять стоп,
Соорудили темный гроб
И в нем живых себя заклали.

Он думал о своих друзьях, двух Александрах: Бестужеве и Одоевском.

Он им пытался помочь...

...Александр Бестужев жил еще в Якутске. Занимал половину маленького деревянного домика, летом пропадал на охоте, читал редкие здесь газеты и книги, тосковал без братьев, находившихся в Читинском остроге...

«Я сижу с книгами и мечтами. Любуюсь морозными астрами на слюдяных окошках и редко купаюсь в здешних туманах, т. е. сижу сиднем, как Илья Муромец», — сообщал он на Кавказ брату Петру.

А скоро и сам оказался там.

Служба рядовым на Кавказе быстро погасит вспыхнувшие было надежды. Все придется испытать ему: унижения, болезни, гибель друзей...

«В 1829 году я был на могиле нашего незабвенного Грибоедова и плакал, как дитя — я был один... Что этот человек хотел сделать для меня!.. Он умер, и все пошло прахом».

А затем смерть Пушкина, и новая панихида...

...Зима в Чите в 1828 году выдалась жестокой. Земля промерзла, и «государственные преступники» работали большей частью в помещении: мололи на ручных мельницах ржаную муку.

Занятия в «каторжной академии» продолжались.

Александр по-прежнему читал лекции об отечественной словесности, занимался с Андреем Розеном русским языком, писал стихи, стараясь ободрить тех, кто упал духом, поддержать в них верность прежним свободолюбивым идеям и надежду на перемену судьбы...

И товарищи были благодарны ему за это.

«Звучные и прекрасные стихи О[доевско]го, относящиеся к нашему положению, согласные с нашими мнениями, с нашей любовью к отечеству, нередко пелись хором под звуки музыки собственного сочинения кого-либо из наших товарищей-музыкантов», — рассказывал Николай Басаргин.

Однажды после очередного свидания с женой Никита Муравьев вернулся в каземат с листком бумаги в руке.

— Друзья, послушайте! — обведя обступивших его товарищей лихорадочно блестевшими глазами, воскликнул он. — Александр Пушкин шлет нам свой поэтический привет! Послушайте!..

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье .

Читал он хорошо, стихотворение знаменитого поэта произвело на ссыльных огромное впечатление. Иван Пущин, коему поэт посвятил известные строки: «Мой первый друг, мой друг бесценный!..», не выдержав, вытер ладонью глаза.

Было решено ответить Александру Пушкину. Но кто мог сделать это достойным образом?

Взоры ссыльных обратились к Одоевскому...

Он лишь молча пожал плечами и побрел в свою камеру.

Не было у него сил говорить в эту минуту и громко восторгаться прекрасным посланием. Каждой пророческой строкой своей — строкой надежды, ободрения и веры — оно вошло в его существо и закипело на торопливом бегу, словно разгоряченная кровь.

Утром, когда он проснулся, за окном еще дымились в рассветном тумане далекие холмы. Товарищи спали, часовой дремал в караульной комнате.

«Нет, огонь в нас еще не погас, — решил он. — Рано записывают в покойники. Настанет время — будем гордиться своими цепями! И семя взрастет, и искра вспыхнет... несмотря на все непогоды!..»

Ответные стихи рождались в его душе удивительно легко. Наверное, потому, что почва оказалась плодородной...

Днем он читал их товарищам.

Читал с необычным для себя волнением и чувством:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И — лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард! — цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!

Когда он смолк, в каземате долго стояла тишина.

...К Чите уже подбиралась ранняя весна.

А вместе с ней пришла из России страшная весть.

«Неприятно передавать горестные вести и истины, — писал Бестужевым с Кавказа их брат Петр, — но я не могу умолчать о следующем: общий друг и благодетель наш, полномочный министр в Персии, А. С. Грибоедов предательски зарезан в Тегеране со всею миссиею. Невольно содрогаешься при сей страшной мысли! Что подумать о правительстве, где неприкосновенность чрезвычайной особы так нагло нарушена? Что подумать о народе, который весь состоит из итальянских лацароней, беспрестанно острящих подкупной нож предательства?..»

5

«Высчитать ли мои утраты? Гениальный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов!..»

(В. К. Кюхельбекер)

30 января 1829 года

Не наслажденье жизни цель,
Не утешенье наша жизнь.
О, не обманывайся, сердце!
О, призраки, не увлекайте...

В декабре Грибоедов выехал из Тавриза.

Письмо от В. С. Миклашевич усилило начавшуюся тоску. «Неужели я для того рожден, чтобы всегда заслуживать справедливые упреки за холодность (и мнимую притом), за невнимание, эгоизм от тех, за которых бы охотно жизнь отдал. — Александр наш что должен обо мне думать!..»

Мысль о томящемся в Сибири брате не давала ему покоя.

«Александр мне в эту минуту душу раздирает. Сейчас пишу к Паскевичу; коли он и теперь ему не поможет, провались все его отличия, слава и гром побед, все это не стоит избавления от гибели одного несчастного, и кого!!! Боже мой, пути твои неисповедимы».

Нину он оставил в семье английского посла Макдональда. Перед отъездом написал И. Ф. Паскевичу письмо, которое окончил мольбой:

«Благодетель мой бесценный. Теперь без дальних предисловий, просто бросаюсь к вам в ноги, и если бы с вами был вместе, то сделал бы это, и осыпал бы руки ваши слезами. Вспомните о ночи в Туркменчае перед моим отъездом. Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского. Вспомните, на какую высокую степень поставил вас господь бог. Конечно, вы это заслужили, но кто вам дал способы для таких заслуг? Тот самый, для которого избавление одного несчастного от гибели гораздо важнее грома побед, штурмов и всей нашей человеческой тревоги...

Может ли вам государь отказать в помиловании двоюродного брата вашей жены, когда двадцатилетний преступник уже довольно понес страданий за свою вину, вам близкий родственник, а вы первая нынче опора царя и отечества.

Сделайте это добро единственное, и оно вам зачтется у бога неизгладимыми чертами небесной его милости и покрова. У его престола нет Дибичей и Чернышевых, которые бы могли затмить цену высокого, христианского, благочестивого подвига. Я видал, как вы усердно богу

молитесь, тысячу раз видал, как вы добро делаете. Граф Иван Федорович, не пренебрегите этими строками. Спасите страдальца!..»

Письмо ушло с очередной почтой, но в судьбе Одоевского ничего не переменилось. Граф Иван Федорович не внял мольбам свойственника, не «спас страдальца»...

Дорога в Тегеран была утомительна, бессонница не отпускала его. Ему так хотелось оседлой жизни. Он скучал, тосковал по жене.

«Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя, как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить... Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться...»

Встретили его по-царски. Приемы... возврат пленных... происки английского агента. Мстительный Аллаяр-хан не забыл неуступчивого посланника.

Спровоцированный взрыв религиозного фанатизма, короткая схватка в посольстве и... смерть. Мгновенная, но ужасная. Обезображенный труп его узнали по сведенному мизинцу на руке — от дуэльной раны.

Последний путь в Россию. На дрогах... Встреча с Пушкиным. Поэта мертвого с живым...

— Кого везете?

— Грибоеда.

И памятник в храме святого Давида в Тифлисе. Плачет в камне коленопреклоненная женщина — «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской...»

Плачет наяву. жена его, урожденная княжна Чавчавадзе: «Но для чего пережила тебя любовь моя? — Незабвенному его Нина».

А прожита лишь половина жизни!

Еще не скоро закажет в храме панихиду брат и друг убиенного посла и поэта Александр Одоевский...

Храм стоит и поныне.

Там, где вьется Алазань,
Веет нега и прохлада...

6

Где он? Где друг? Кого спросить?
Где дух?.. Где прах?.. В краю далеком!
О, дайте горьких слез потоком
Его могилу оросить...
. . . .

Я там один с тоской моею,
В ненарушимой тишине,
Предамся всей порывной силе
Моей любви, любви святой,
И приросту к его могиле,
Могилы памятник живой...

В январе 1841 года входивший в известность воронежский поэт, чьи стихи вскоре станут народными, напишет Виссариону Белинскому:

«Я добыл «Элегию» Пушкина на смерть Грибоедова. Если бы можно было напечатать, было бы славно, хотя бы с выпуском нескольких стихов в середине. И если вы ее не читали, ну я посылаю для вас. Уверяют, что она нигде не была напечатана и немногим известна...»

Ошибка поэта, приписавшего стихотворение Александра Одоевского Пушкину, примечательна. Не знал он и о том, что оно, написанное «под небом гранитным и в каторжных норах», было напечатано в 1830 году в «Литературной газете» Антоном Дельвигом.

Горестная весть выбила Одоевского из колеи надолго. Связь с домом он поддерживал через Наталью Фонвизину, писавшую его отцу.

20 мая 1829 года Иван Сергеевич писал ее матери, Марии Павловне Апухтиной: «Ваша Наталья Дмитриевна для меня ангел земной, которая одна во всей вселенной столь часто извещает меня о Сашиных мыслях, утешает меня в убийственной горести моей — она препоручила Вам известить меня о сыне моем и о книгах, кои нужны ему...»

К Александру пришла бессонница... Перед глазами его, воспалившимися от тайных слез, неизменно стояло сведенное судорогой боли лицо Грибоедова, лежало на земле обезображенное дикой толпой тело...

Работа валилась из рук.

Лекции он почти забросил, товарищи старались не донимать его расспросами. Гибель Грибоедова тяжело пережили и они, высоко ставившие автора бессмертной комедии.

Смерть брата Александр не забудет никогда.

Но под иными небесами
Он и погиб и погребен;
А я — в темнице! Из-за стен
Напрасно рвуся я мечтами:
Они меня не унесут,
И капли слез с горячей вежды

К нему на дерн не упадут.
Я в узах был; — но тень надежды
Взглянуть на взор его очей,
Взглянуть, сжать руку, звук речей
Услышать на одно мгновенье —
Живила грудь, как вдохновенье,
Восторгом полнила меня!
Не изменилось заточенье;
Но от надежд, как от огня,
Остались только дым и тленье;
Они — мне огнь: уже давно
Все жгут, к чему ни прикоснутся.
Что год, что день, то связи рвутся...

Время шло... Весна сменилась летом. Каждый новый месяц в Читинском остроге нужно было встречать с достоинством и мужеством, так как его окружали товарищи, которые видели в нем прекрасного поэта, верного друга, человека несломленного, презревшего трагическую судьбу...

— Главное, мой друг, — не раз говаривал ему Иван Пущин, — не надо утрачивать поэзии жизни.

Как нелегко следовать этому!..

Между тем Петр Муханов сообщил Одоевскому, что отправил тетрадку его стихов в Петербург.

— Стихи не дойдут, уверяю тебя!

— Отправлены с верной оказией, Александр, — загадочно улыбнувшись, ответил Муханов. — Сам Лепарский о том знать не будет. Посмотрим, авось что и выйдет! Ты был знаком с князем Петром Андреевичем?

— Вяземским?

— Да.

— Грибоедов нас знакомил, и потом не раз виделся. Кстати, ему я посвятил один из ранних своих поэтических опытов.

— Тем лучше!

— Не верю все же, что решатся напечатать. «Государственным преступникам» путь в литературу закрыт.

— А если анонимно?

— Слишком много в стихах нежелательных для правительства намеков и реалий. И Петропавловская крепость, и наш острог наложили на них свой отпечаток.

— С умом и некоторой решительностью все можно сделать, — сказал Муханов и тут же погрустнел: —Как жаль, что не удалось нам сделать собственный альманах! Столько мощных дарований пропадает здесь втуне.

— Увы, Петр, твоя затея с самого начала была обречена на провал. Неужли ты думал, что разрешат?

— Почти не верил, но надежда все-таки теплилась. А сибирский дождь и злой ветер из Петербурга погасили ее. И все же я был бы рад увидеть твои стихи в печати. Никак не забуду твою последнюю элегию...

Муханов наклонил кудрявую рыжую голову и хриплым голосом, протяжно и печально, стал декламировать:

Что́ вы печальны, дети снов,
Бесцветной жизни привиденья?
Как хороводы облаков
. . . .
Неслися вы!.. Едва мелькая,
Едва касаяся земли,
Вы, мира мрачные печали,
Все бури сердца миновали
И безыменно протекли,
Вы и пылинки за собою
В теченье дней не увлекали;
И безотчетною стопою,
Пути взметая легкий прах,
Следов не врезали в граните
И не оставили в сердцах.
Зачем же вы назад глядите
На путь пройденный? Нет для вас
Ни горьких дум, ни утешений;
Минула жизнь без потрясений,
Огонь без пламени погас...

Одоевский с улыбкой смотрел на Рыжего Галла, на его преобразившееся и теперь вдохновенное лицо. Элегию он посвятил Вареньке Ланской, троюродной сестре, не забывавшей его и в сибирской ссылке...

Она поймет, что он все тот же Александр, что он не покорился злой судьбе. Нет в их рядах места тем, кто «в постыдной праздности влачит свой век младой». Их осуждал Рылеев, их не любил и Грибоедов. Они свершили свой краткий земной путь... Но жизнь идет: одни поколения сменяют другие, и смерти не торжествовать над родом человеческим...

Но вечен род! Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья;
Младенцы снова расцветут,
Вновь закипит младое племя,
И до могилы жизни бремя,
Как дар, без цели, донесут
И сбросят путники земные...
Без цели!.. Кто мне даст ответ?
Но в нас порывы есть святые,

И чувства жар, и мыслей свет,
Высоких мыслей достоянье!..
В лазурь небес восходит зданье:
Оно незримо, каждый день,
Трудами возрастает века,
Но со ступени на ступень
Века возводят человека.

7

Петр Андреевич Вяземский приехал к Дельвигу рано утром. К его удивлению, барон, чуть обрюзгший, уже сидел, закутавшись в теплый длинный халат, в своем маленьком полутемном кабинете и пил кофе.

— Когда же вы спите, князь? — вяло спросил он и, потянувшись, болезненно зевнул. — Впрочем, и меня последние дни не оставляет бессонница. — Что привело вас в такую рань?

— Посоветоваться хочу с тобой, Антон. Недавно Вера Федоровна получила посылку из мест отдаленных, от наших друзей, коих посетило когда-то несчастье.

— Загадками говорите, Петр Андреевич! Из Сибири, что ли?

Дельвиг встал и неторопливо прошелся по кабинету.

Вяземский протянул барону письмо.

Дельвиг надел очки.

«Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах. Если вы их не засудите — отдайте в печать. Может быть, ваши журналисты Гарпагоны дадут хоть по гривенке за стих. Автору с друзьями хотелось бы выдать альманах «Зарница» в пользу невольно заключенных. Но одно легкое долетит до вас. Не знаю, дотащится ли когда-нибудь подвода с прозой. Замолвьте слово на Парнасе: не помогут ли ваши волшебники блеснуть нашей зарнице? Нам не копить золота; наш металл — железо и желание — заработать — Say, Constant, le comte Sismondi etc: впрочем, воля ваша, только избавьте стихи от Галатеи.

Z.Z.

12 июля 1829. Ч[итинский] О[строг]».

— Кто за этими буквами? — прочитав записку, спросил Дельвиг.

— Муханов.

— А стихи?

— Князя Одоевского.

— Александра?.. — Дельвиг взволнованно посмотрел на Вяземского.

— Мне кажется, наш нравственный долг пред ними...

— Прочтите что-нибудь.

Вяземский вытащил из-за отворота сюртука небольшую тетрадку, бережно расправил ее и с высоты своего роста начал декламировать:

Как много сильных впечатлений
Еще душе не достает!
В тюрьме минула жизнь мгновений
И медлен и тяжел полет
Души моей...

— Да-а!.. — задумчиво произнес Дельвиг. — Пройдет ли сие?

— Конечно, придется пройтись с пером по строчкам. И без имени автора. Стоит попробовать.

Дельвиг осторожно полистал тетрадку.

— Четырнадцать стихов... Элегия на смерть Грибоедова...

Но под иными небесами
Он и погиб и погребен;
А я в темнице!..

Да... Его уже нет. Помню, как обсуждали мы с ним письмо Катенина о его комедии. И Одоевского часто видел. Эх, князь! Скучно что-то мы живем, тоскливо. Воздуха не хватает...

— Перестань, Антон! Удастся нам предприятие с газетой и со стихами, скажу жене, пусть вышлет означенные номера Волконской, с коей она переписывается. Может, и автор прочтет. Порадуется, что не забыли.

— Кого же помнить нам, князь?

Оставшись один, Дельвиг снова полистал тетрадь, казалось, пахнущую каторгой, морозами и кандалами.

— Ан не узнать тебя, брат, совсем! Созрел... Смотри, какие строки! Дам Пушкину прочесть, то-то обрадуется. Ответ твой из Сибири просто поразил его. Ну что ж, попробуем! Посмотрим, брат, что выйдет из того. Посмотрим...

8

Что за кочевья чернеются
Средь пылающих огней? —
Идут под затворы молодцы

За святую Русь.
За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава!
Весело ляжем живые
За святую Русь.

Седьмого августа 1830 года «государственным преступникам» объявили о перемещении их из острога в Петровский завод. Предстоящему походу, обещавшему некоторое разнообразие, они обрадовались. Слабых здоровьем определили вместе с вещами на специальные подводы, другие шли пешком...

Завод располагался в шестистах тридцати верстах от острога.

Ссыльных разделили на две партии. Первая вышла седьмого августа, пасмурным, прохладным утром, под охраной солдат и конных казаков, которыми командовал плац-майор. На подводах везли скарб и больных.

Старые жилища были брошены, плоды и овощи отданы местным жителям. Они с грустью провожали этих странных «государственных преступников», от которых ничего, кроме добра, они не видели.

Одоевский сочинил песню. Ее пели его товарищи во время перехода, рассчитанного на полтора месяца.

За святую Русь неволя и казни —
Радость и слава!
Весело ляжем живые
За святую Русь.

До Верхнеудинска шла неширокая почтовая дорога, станций по ней было очень мало. На дневках проводники-буряты ставили войлочные юрты на четыре-пять человек каждая.

После Домно-Ключевской станции начался дождь. Юрты промокали, но «государственные преступники» шутили друг над другом, стараясь не думать о неудобствах.

— Я вижу, ты и нынче совершил омовение, — смеялся Розен, глядя на мокрого Одоевского.

— Взгляни, Андрей, на себя! — беззлобно бурчал Александр. — Хоть тут же выжимай!..

Михаил Лунин, у которого в сырую погоду открывались старые раны, ехал в закрытой повозке. Он вызывал, пожалуй, наибольшее любопытство сопровождавших партию бурят. Они хотели узнать, за что его сослали. Им объяснили, что он помышлял на убийство русского тайши —

верховного правителя. Бурят это настолько поразило, что они часами кружили на лошадях вокруг закрытой повозки, пытаясь разглядеть лицо таинственного смельчака.

У Шакшинского озера остановились на привал.

«Душа и сердце мое были настроены к поэзии, — записал в свой дневник участник перехода Михаил Бестужев. — Прекрасные картины природы, беспрестанно сменяющие одни других, новые лица, новая природа, новые звуки языка, — тень свободы хотя для одних взоров. Ночи совершенно театральные, на ночлегах наших...»

Зыблется светом объятая
Сосен цепь над рядом юрт.
Звезды светлы, как видения,
Под навесом юрт...

По ночам Александр смотрел на звезды.

Они вспыхивали и гасли в темном небе, в смутных сполохах от горящих между юрт костров, возле которых, опершись на ружья, грелись солдаты...

Переход, поначалу показавшийся тяжелым и скучным, теперь радовал его. Побыть пусть под охраной, но на свободе, среди бескрайнего простора, у берегов сибирских рек, в дремучем лесу, разве мог он мечтать об этом еще лишь месяц назад!

Перекликались часовые...

В небе взошла крупная красная звезда.

— Венера? — удивленно воскликнул высунувшийся из юрты Михаил Кюхельбекер.

Раздался хохот. Многие из «путешественников», оказалось, не спали.

— Уморил! — задыхаясь от смеха, произнес кто-то в темноте. — Спутать Марс с Венерой... Миша, тебе необходимо срочно выспаться!

Сконфуженный Кюхельбекер нырнул обратно в юрту.

Одоевский пошевелил онемевшими под головой пальцами.

Марс — бог войны! К чему он бродит сейчас по небу? Что хочет сказать нам?

В минуты скорби, среди земных костров, бурятских непонятных песен и ржанья лошадей, среди своих товарищей, при свете уходящих звезд был он в эту ночь совсем одинок.

Потому что отрешился от земли, ушел от сполохов и теней, ушел от торопливого бытия в другой мир — мир

иного света и иных людей, оставивших в его душе тепло и боль воспоминаний.

Он вспомнил женщину, которую любил... Ее уж нет.

Он встретился с другом и братом своим, чья жизнь недавно оборвалась.

Мне в ранней юности два образа предстали
И, вечно ясные, над сумрачным путем
Слились в созвездие, светились сквозь печали
И согревали дух живительным лучом.

...И жаждал я на все пролить их вдохновенье,
Блестящий ими путь сквозь бури провести...
Я в море бросился, и бурное волненье
Пловца умчало вдаль по шумному пути.

Тихая ночь плыла над уснувшими бурятскими юртами, съежились и потемнели от предутренней сырости костры, задремали часовые, ушли в праведные сны, устав за день, «государственные преступники», и лишь один из них был с небом и землей наедине, и ветер приглушал шаги и падал у его юрты...

Светились две звезды, я видел их сквозь тучи;
Я ими взор поил; но встал девятый вал,
На влажную главу подъял меня могучий,
Меня, недвижного, понес он и примчал, —

И с пеной выбросил в могильную пустыню...
Что шаг — то гроб, на жизнь — ответной жизни нет;
Но я еще хранил души моей святыню,
Заветных образов небесный огнь и свет!

Что искрилось в душе, что из души теснилось, —
Все было их огнем! Их луч меня живил
Но небо надо мной померкло и спустилось —
И пали две звезды на камни двух могил...

Всхрапнула кем-то испуганная лошадь, и часовой, вскочив, схватился за ружье, но тут же вновь обмяк. Потому что все в ночи потухло: и песни, и торопливый бег на перекатах далекой Ингоды... Подернулись плотной завесой туч и звезды.

Кто силу воскресит потухших впечатлений
И в образы сведет несвязные черты?
Ловлю все призраки летучих сновидений —
Но в них божественной не блещет красоты.

И только в памяти, как на плитах могилы,
Два имени горят! Когда я их прочту,
Как струны, задрожат все жизненные силы,
И вспомню я сквозь сон всю мира красоту!

С рассветом партию подняли.

Над туманным лесом и холмами уже висело мутное солнце.

Снова пошел дождь, дорогу невообразимо развезло. На привале огонь пришлось разводить в юртах, устроив из дерна печку, чтобы дым выходил в круглое верхнее отверстие.

«Хозяином» этого перехода был Андрей Розен. Ехал он впереди партии: нужно успеть подготовить место стоянки и обед.

Проводники смело и уверенно вели за собой ссыльных.

«Что за добрый народ эти буряты! — восхищался Михаил Бестужев. — Я большую часть времени провожу с ними в расспросах и разговорах. Некоторые говорят хорошо по-русски, с другими я кое-как объясняюсь с помощью составленного мною словаря. Это их удивляет. Они мне рассказывают свои сказки, две или три я списал при помощи переводчика, но потерял — жалко...»

Скоро им привезли газеты...

Свежие новости: смерть английского короля Георга IV и «чумной» бунт в Севастополе... Мир, от которого они насильственно были отторжены, жил по своим обычным законам — люди восставали, умирали, надеялись на будущее.

Ссыльные дышали чистым воздухом сибирских просторов, наслаждались необъятностью далей, грубо не схваченных остроконечным частоколом тюрьмы, мягкими теплыми вечерами...

На берегу Яравинского озера они собирали сердолики, затем березовым лесом вышли к другому озеру, у которого расположилось небольшое село с каменной церковью.

В деревне Погромской ссыльные узнали о приезде Анны Васильевны Розен, дочери директора Царскосельского Лицея Малиновского. Услышав звон колокольчика и увидев выскочившую из-за поворота коляску, муж ее бросил котлы и помчался мимо ошеломленной охраны к приезжей.

Счастливей его в эту минуту не было никого.

Переход продолжался...

На очередной дневке видели старого шамана, над не-

ловкими фарсами которого бурятский тайша смеялся, желая показать русским свои прогрессивные взгляды.

Переправа через реку Ону прошла успешно.

Ветер усилился, постоянно накрапывал мелкий дождь.

Ссыльные торопились. У Верхнеудинска партию встретила городская полиция. На всех возвышениях толпился любопытный люд. По левую сторону стоял верхнеудинский beau monde[1].

И снова дорога...

Позади осталось богатое старообрядческое село Тарбагатай.

Еще через несколько дневок узнали из газет о французской революции.

«На последнем ночлеге к Петровскому, — рассказывает Николай Басаргин, — мы прочли в газетах об июльской революции в Париже и о последующих за ней событиях. Это сильно взволновало юные умы наши, и мы с восторгом перечитывали все то, что описывалось о баррикадах и трехдневном народном восстании. Вечером мы все собрались вместе, достали где-то бутылки две-три шипучего, выпили по бокалу за июльскую революцию и пропели хором марсельезу. Веселые, с надеждою на лучшую будущность Европы, входили мы в Петровское».

Одоевский произнес тост во славу истинно живущих и истинно восставших, во славу революции.

Звучит вся жизнь, как звонкий смех,
От жара чувств душа не вянет...
Люблю я всех и пью за всех!
Вина, ей-богу, не достанет!..

На подходе к Петровскому мужей встретили специально выехавшие Катрин Трубецкая и Елизавета Нарышкина. Объятия, слезы...

У дома Александрины Муравьевой ожидали партию все сибирские изгнанницы.

«С веселым духом вошли мы в стены нашей Бастилии, бросились в объятия товарищей... и побежали смотреть наши тюрьмы. Я вошел в свой номер. Темно, сыро, душно. Совершенный гроб».

В своем мнении о новой тюрьме Михаил Бестужев не был одинок.

---

[1] Высший свет *(франц.)*.

9

Петровский завод представлял собой большое поселение с двумя тысячами жителей. В центре его возвышалась деревянная церковь, во все стороны от нее расходились две с половиной сотни изб. Название свое поселок получил от казенного чугунолитейного завода.

Тюрьма была построена очень громоздко и неудобно. Несколько прогулочных дворов вплотную примыкали к длинным коридорам, опоясывавшим все здание. Коридоры разделялись на двенадцать изолированных отделений, в каждом из которых находилось по пять-шесть камер.

Семь шагов в длину, шесть в ширину — таковы размеры жилья, отведенного для «государственного преступника». Из-за отсутствия окон они вынуждены были сидеть и днем в камерах при свечах. Обедали в коридорах, где выставлялись большие столы.

В десять часов вечера охрана запирала все внутренние и наружные замки. Женам царское правительство разрешило жить вместе с мужьями. Женщины выстроили себе возле каземата небольшие дома, где готовили пищу мужьям, а зачастую и многим их товарищам. В письмах к родным жены жаловались на трудные условия, в каких оказались ссыльные в Петровском заводе.

Многие из влиятельных родственников сибирских изгнанников забили во все колокола.

Недовольный излишним шумом, император разрешил прорубить в тюрьме окна. На письме Александры Муравьевой шеф жандармов А. Х. Бенкендорф наложил резолюцию:

«Женам написать, что напрасно они печалят своих родных, что мужья их поселены для наказания и что все сделано, что только человеколюбие и снисхождение могли придумать для облегчения справедливо заслуженного наказания...»

От женщин доставалось и коменданту Лепарскому.

— Но помилуйте! — растерянно защищался тот. — За послабления меня разжалуют в солдаты!

— Ну что ж, — отвечали ему, — станьте солдатом, генерал, но будьте честным человеком!

Лепарский втайне побаивался этих аристократок: некоторые из них были лично знакомы с царем.

В Петровском заводе заключенные работали почти так же, как и в Чите: летом чинили дороги, зимой мололи на

ручных мельницах муку... Свободным временем каждый распоряжался как умел. Книг в артельной библиотеке собралось порядочно — до шести тысяч.

Дважды в неделю Александр занимался с Андреем Розеном русской словесностью и языком. Старый моряк Торсон рассказывал по средам о своем кругосветном путешествии, читал путевые записки и основы механики. Александр Поджио и Фролов огородничали. На кооперативные средства ссыльные держали баню и даже приобрели живое тягло — здоровенного быка.

Несмотря на тяжелые условия, умственная жизнь в Петровском заводе не затухала. Братья Бестужевы писали прозаические вещи, Василий Ивашев создал эпос о Степане Разине, Михаил Лунин отсылал в Петербург сестре своей обличительные письма-исповеди, ставшие потом знаменитыми.

Александр Одоевский работал много и упорно.

Песню его «Славянские девы» товарищи распевали и по вечерам, и на работе:

...Девы! согласно что́ не поете
Песни святой минувших времен?
В голос единый что́ не сольете
Всех голосов славянских племен?

Боже! когда же сольются потоки
В реку одну, как источник один?
Да потечет сей поток-исполин,
Ясный, как небо, как море, широкий,
И, увлажая полмира собой,
Землю украсит могучей красой!

По словам Д. Завалишина, в Петровской тюрьме «очень развита была также легкая и сатирическая литература». Некоторые стихотворения были положены на музыку. Этим преимущественно занимался Вадковский.

По просьбе Петра Муханова дамы ходатайствовали перед Петербургом о разрешении печатать ссыльным свои сочинения.

На многочисленных прошениях начальник III отделения Бенкендорф неизменно писал: «Считаю неудобным позволять государственным преступникам посылать свои сочинения для напечатания в журналах, ибо сие поставит их в сношения, не соответственные их положению». Шеф жандармов советовал ссыльным «на новом месте» заботиться лишь «о прочном заведении и устройстве сельского

своего хозяйства, откуда со временем получат для себя выгодную пользу».

Михаил Лунин задумал большой коллективный труд, как бы политическую исповедь.

— Мы должны объяснить потомкам наши цели и намерения. Сестра переправит рукопись за границу, и там ее напечатают.

Некоторые из наиболее умеренных возражали, считая, что сейчас не время ворошить прошлое, что история сама, мол, даст оценку. Но другие (Якушкин, Горбачевский, Пущин, Розен, Одоевский...) рьяно взялись за дело, и совместный труд в спорах и длительных беседах постепенно приобрел реальные очертания.

Громницкий снял с оригинала копию и зарыл за казематом в лесу, но он вскоре умер, погиб в Акатуе и Лунин. Труд этот был, к величайшему прискорбию, утерян.

Ежегодно заключенные отмечали памятный, святой для себя день — 14 декабря. Вот и в Петровском заводе наступил этот праздник.

В канун его, по словам Михаила Бестужева, меж ним и Алексеем Тютчевым, членом Общества соединенных славян, произошел следующий разговор:

«— Ну что, mon cher, ты нас сегодня распотешишь, споешь нам «Славянские девы» после обеда? — спросил я.

— Кажется, спою, но как — это другое дело. Злодей Вадковский измучил меня, mon cher! Вытягивай ему каждую ноту до последней тонкости, как у него написана на бумаге. Я так не привык, да и нот вовсе не знаю. У нас в Семеновском полку был великолепный хор песельников. Как пели русские песни!!. Ах, mon cher! После разгрома полка нашего мне уж никогда не удавалось слышать ничего подобного... как пели... Душа замирает. Сладко, согласно, никто на волос не сфальшит. А ежели и случался такой грех, то весь хор так и набросится на несчастного.

— Ну, скажи, как же они знали, что он фальшил?

— А оттого, mon cher, что у меня, как и у каждого из них, камертон был в душе, а ухо — в сердце. Вот если б Одоевский, вместо своих дев, да написал что-нибудь в русском духе — знаешь этак — просто русскую песенку, где бы хоть слегка были упомянуты мы — черниговцы, когда мы шли с Муравьевым умереть за Святую Русь, — ну тогда бы ты, mon cher, сказал русское спасибо Тютчеву.

Этот безыскусственный, простой рассказ утвердил меня

в постоянном моем мнении о музыкальном чутье русского народа. Сойдутся пять-шесть человек русских из разных концов России — запоют песню — прелесть!.. Они не поют в unisson, как большая часть других народов, но голоса бессознательно разделяются музыкально. А преимущественно русские песни они поют гармонически. Тютчев обладал таким мягким, таким сладостным тембром голоса, которого невозможно было слушать без душевного волнения в русских песнях, а в особенности в песнях: «Не белы-то снежки» или «Уж как пал туман на сине море». Понимая его очень хорошо, что «Славянские девы», написанные Одоевским и положенные на музыку Вадковским, — и стихотворение, и музыка обладают неоспоримыми достоинствами, — я смутно предчувствовал, что Тютчев не произведет своим голосом того впечатления, какого ожидали от этой арии. Я взял карандаш и написал русскую песню на тему: «Уж как пал туман на сине море» — песню, которую он пел невыразимо хорошо.

Что ни ветр шумит во сыром бору,
Муравьев идет на кровавый пир...
С ним черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать.

. . . .

Конь! мой конь! скачи в святой Киев-град:
Там товарищи — там мой милый брат...
Отнеси ты к ним мой последний вздох,
И скажи: «Цепей я снести не мог,
Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности!..»

Я не ошибся в своем предчувствии... Несмотря на экзальтированное настроение присутствующих на обеде, который мы постоянно устраивали 14 декабря, когда, по окончании его, вышел хор и запел гимн «Славянских дев», впечатление на слушателей было не заметно, хотя гимн был аранжирован прекрасно.

Но когда, после некоторого промежутка, послышался симпатический голос Тютчева в простой русской песне «Что ни ветр шумит», где он был неподражаемо прекрасен, восторг был необычайный. Все бросились его обнимать, меня хотели качать на руках. Я убежал в свой номер и заперся».

Песня М. Бестужева стала необычайно популярной в Петровском заводе, да и вообще в Сибири.

На одном из вечеров к Одоевскому подошла Мария Волконская и с таинственной улыбкой сказала:

— Александр! Из Петербурга прислала мне княгиня Вяземская свежие газеты и журналы, кои, я полагаю, небезынтересно будет полистать и вам.

Ничего не понимая, он взял в руки «Литературную газету», перевернул страницу, другую... И вдруг!

...Трубы звучат за Шелонью-рекой:
Грозно взвевают московские стяги!
С радостным кликом Софии святой
Стала дружина — и полный отваги
Ринулся с берега всадников строй...

— Боже мой! — прошептал он, не веря глазам своим.

Но они не обманывали — в издаваемой бароном Дельвигом «Литературной газете» были анонимно напечатаны его, Одоевского, стихи.

— Вот видите! — счастливо засмеялась Волконская. — Не забыли вас в России друзья. Помнят они о нас, призывают к мужеству... Александр Сергеевич с Вяземским приняли в напечатании ваших стихов живейшее участие.

Муханов обнял Одоевского.

— А ты не верил, — радовался он так, словно напечатали его самого.

Позже в Сибирь пришли «Северные цветы» с его стихами.

Александр воспрянул духом. В последнее время он снова занялся историей. «С очень давних пор история России служит источником моих обычных вдохновений — древняя история, столь простая и иногда столь прекрасная в устах наших монахов летописцев».

Он пишет о времени Василия Шуйского — «Дева, 1610 год», где под «божественной девой» разумеет свободу, ее олицетворение. «Я вам чужда, меня вы позабыли». — жалуется она, упрекая молодое поколение, отказавшееся от борьбы...

Где ж русские? Где предков дух и сила?
Развеяна и самая молва.
Пожрала их нещадная могила,
И стерлись надписи слова!

. . . .

Безумный взор возводят, и молитву
Постыдную возносят к небесам.
Пора, пора начать святую битву, —
К мечам! За родину к мечам!..

Одоевский интересуется древнерусской вольностью...

О Вадиме Новгородском и Марфе Посаднице писал когда-то и Кондратий Рылеев, но не завершил начатого. «Ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы, — в январе 1825 года писал он Пушкину, — настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?»

Владимир Раевский, арестованный еще в 1822 году, находясь в Тираспольской крепости, написал своего «Певца в темнице». Исчезнувшее возродится, павшее восстанет... — вот смысл этого стихотворения.

Одоевский продолжил и развил тему о свободолюбивых русских городах Новгороде и Пскове в целом цикле стихотворений: «Неведомая странница», «Зосима», «Кутья», «Послы Пскова», «Старица-пророчица»...

Александр верил, что дело, начатое ими, другие доведут до конца: пал Новгород, не устояв перед царем московским; стремились к свободе и они, но тоже потерпели поражение... Восторжествовала злая сила. Но надолго ли? За кем последнее слово? Их надежды, их борьба втуне не пропадут — из искры должно возгореться пламя!..

Свою веру в будущее он вкладывал и в пророчество новгородцам:

Нет, веруйте в земное воскресение:
В потомках ваше племя оживет,
И чад моих святое поколение
Покроет Русь и процветет.

В Петровской тюрьме он продолжал работать над начатой еще в Читинском остроге поэмой «Василько» — об ослеплении удельного князя Василька Ростиславовича князем Давидом Игоревичем. Написаны были все четыре песни, но Александр без устали шлифовал стихи, добиваясь их большей образности и ясности мысли.

Трагедия ослепленного Василька в оторванности от народа, не поддержавшего его и не пришедшего к нему на помощь. Думается, что в голову Одоевскому приходила мысль о трагедии его и его товарищей, пытавшихся вне связи с народом отвоевать у деспотизма свободу...

Время в Петровском, как и в Чите, шло медленно, однообразно.

После одной из петербургских почт слегла Елизавета Нарышкина.

— Брат ее умер на Кавказе, — огорченно сообщил Михаил Нарышкин. — Двадцати восьми лет. А она никак не поверит сообщению матери, плачет днем и ночью...

Одоевский знал графа Петра Коновницына, бывшего подпоручика генерального штаба, члена Северного общества, сосланного рядовым в Семипалатинск, а затем на Кавказ. Образованный и добрый юноша, любивший хорошо поспать и поговорить...

На смерть его он написал стихи:

На грозном приступе, в пылу кровавой битвы
Он нежной матери нигде не забывал;
Он имя сладкое сливал
Со словом искренней молитвы...
Опять увидеть взор очей,
Услышать радостные звуки,
Прижать к устам уста и руки
Любимой матери своей, —
Вот были все его желанья...

«Мои ровесники уже уходят, — с грустью размышлял Александр. — Судьба попросту смеется над нами. Смерть выбирает в жертвы достойных... Достойных и славы, и долгой жизни, и благородной памяти в сердцах потомков. Фаланга наша редеет, с уходом Грибоедова в ней образовалась огромная брешь. Кто следующий?..»

10

«...в основе варшавского восстания мы видели также самоотверженность и патриотический порыв, который увлекает сердца. Ночь 29 ноября была освещена огнями свободы».

(М. С. Лунин)

Недвижимы, как мертвые в гробах,
Невольно мы в болезненных сердцах
Хороним чувств привычные порывы;
Но их объял еще не вечный сон,
Еще струна издаст бывалый звон,
    Она дрожит — еще мы живы!

В конце ноября 1830 года в Варшаве началось восстание. Восстание охватило все слои населения... В начале 1831 года по польской столице стали распространяться воззвания «Патриотического общества», приглашавшие на панихиду в память повешенных в 1826 году декабристов. Было написано специальное обращение «Поляки к Россиянам», в котором русских патриотов приглашали также присоединиться к восстанию:

«...Первые и юные герои вашей свободы не вотще проливали кровь свою... Они запечатлели великий союз славянских племен. Знаменитые тени Бестужевых, Рылеевых и Муравьевых взирают на вас и строго судить вас будут».

«Во французских газетах напечатано, — вспоминал позже А. М. Грибовский, — что отправлена обедня и панихида по повешенным в Петербурге за 14 дек., а в университете гроб с надписью их имен носили в залах и около здания, при чем говорены были речи...» «На боевых знаменах польских, как известно, красовались высокие призывы: «Za wolnosc nasza i wasza» (т. е. за нашу и вашу свободу)».

Известие о польской революции и слухи о необычной панихиде дошли и до Петровского завода. Заключенные были взбудоражены.

Одоевский не мог не откликнуться на это событие, оставившее в его душе чрезвычайно яркий след.

Вы слышите: на Висле брань кипит!..

Революция во Франции и восстание в Польше... И в это напряженное время Россия не оставалась чуждой освободительному движению. Вспыхивали и подавлялись в различных губерниях крестьянские выступления.

На дверях заезжего дома по пути в Троице-Сергиевскую лавру в 1830 году неизвестной рукой была оставлена следующая надпись:

«Скоро настанет время, когда дворяне, сии гнусные сластолюбцы, жаждущие и сосущие кровь своих несчастных подданных, будут истреблены самым жестоким образом и погибнут смертью тиранов». И подпись: «Один из сообщников повешенных и ссыльных в Сибирь. Второй Рылеев».

Ниже кто-то приписал:

«Ах! если бы это совершилось. Дай Господи! Я первый возьму нож».

Начальник III отделения Бенкендорф признавался в

своем «всеподданнейшем отчете», что 1831 год изобиловал «важнейшими событиями, событиями несчастными для отечества нашего и которыми мнение общее, дух народный сильно и разительно был поколеблен», был «преисполнен мятежами, крамолою и явными знаками непокорности к власти законной».

Молва о брожении в России доходила и до Петровского завода. Нет, ссыльные не позабыли свои вольнолюбивые мечты! Не затух в их сердцах жаркий пламень!..

Нет! В нас еще не гаснут их мечты.
У нас в сердца их врезаны черты,
Как имена в надгробный камень.
Лишь вспыхнет огнь во глубине сердец,
Пять жертв встают пред нами: как венец,

Вкруг выи вьется синий пламень.
Сей огнь пожжет чело их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи и жертвы станут рядом...
Да судит бог!.. А нас, мои друзья,
Пускай утешит мирная кутья
Своим таинственным обрядом.

Пять лет прошло с тех пор, как были повешены их друзья. Пять незабытых имен. О них заключенные нередко вспоминали на совместных вечерах.

Шли месяцы...

Все реже ссыльные собирались в общий круг. «Недостаточные» тяготились помощью более обеспеченных товарищей. Но что было делать? На 1 рубль 98 копеек ассигнациями в месяц (или серебряными деньгами 50 копеек и два пуда муки натурою) прожить невозможно.

Кое-кто изъявил желание обратиться за помощью к правительству.

— Что? — воскликнули другие. — За помощью к палачам? Не бывать этому!..

Решили вновь создать артель, своего рода потребительское общество, наподобие читинской коммуны. Выбрали человека, ведавшего хозяйством, закупщика, огородника и на кухню сменного дневального.

Деньги в артель вносили по подписке. На уставе сохранились подписи Ивана Пущина и Александра Одоевского, вносившего в общий котел крупные суммы.

«Одоевский, — писал в донесении провокатор Медокс, — ангельской доброты. Пиит и учен; знает почти все главные европейские языки. По богатству был в Петров-

ском остроге в числе тамошних магнатов. Несмотря на богатство, он всегда в нужде, ибо со всеми делится до последнего».

...На свежие периодические издания устанавливалась очередь: на газету каждому отпускалось два часа, на журнал два дня. Научным и литературным трудам попрежнему отводилось немало времени. Следили и за книжными новинками. Короткие повести, изданные Пушкиным в 1831 году, вызвали большой интерес:

«Повести Пушкина, так называемые Белкина, являются здесь настоящим событием, — писала сестре Мария Волконская. — Нет ничего привлекательнее и гармоничнее этой прозы. Все в ней картина. Он открыл новые пути... Несколько новых романов и литературных журналов — вот что в настоящую минуту занимает Петровск или, вернее, его заключенных».

Вскоре в Сибирь приехала последняя из изгнанниц — молодая француженка Камилла Ле-Дантю. Приехала к Василию Ивашеву.

По дороге столбовой
Колокольчик заливается;
Что не парень удалой
Белым снегом опушается?
Нет, то ласточкой летит —
По дороге красна девица.
Мчатся кони... От копыт
Вьется легкая метелица.

Ивашев, тяжело переносивший заключение, решился было бежать из Петровской тюрьмы к китайской границе. План этот был настолько же фантастичен, насколько и опасен. Узнав о нем, друзья его, Петр Муханов и Николай Басаргин, с трудом уговорили Ивашева повременить с побегом, задумав во что бы то ни стало помешать безумной затее.

И вдруг из дома, из Симбирска, письмо.

Дочь бывшей гувернантки Ивашевых, Камилла, юная милая девушка, когда-то нравившаяся блестящему кавалергарду, тяжело заболев, открылась матери в своей давней любви к нему.

Ивашев был ошеломлен.

«Сын ваш, — по его просьбе написал в Симбирск комендант Лепарский, — принял предложение ваше касательно девицы Ле-Дантю с тем чувством изумления и благодарности к ней, которое ее самоотвержение и привязан-

ность должны внушить... Но по долгу совести своей он просит вас предварить молодую девушку, чтобы она с размышлением представила себе и разлуку с нежной матерью, и слабость здоровья своего, подвергаемого новым опасностям далекой дороги, как и то, что жизнь, ей здесь предстоящая, может по однообразности и грусти сделаться для нее еще тягостнее. Он просит ее видеть будущность свою в настоящих красках и потому надеется, что решение ее будет обдуманным. Он не может уверить ее ни в чем более, как в неизменной своей любви, в истинном желании ее благополучия, в вашем нежнейшем о ней попечении, которое она разделит с ним...»

Узнав об этом письме, Ле-Дантю обратилась к царю с просьбой:

«Мое сердце полно верной на всю жизнь, глубокой, непоколебимой любовью к одному из несчастных, осужденных законом, — сыну генерала Ивашева.

Я люблю его почти с детства и, почувствовав со времени его несчастья, насколько его жизнь дорога для меня, дала обет разделить его горькую участь...»

Разрешение на отъезд было дано.

В Сибирь Камилла приехала в сентябре 1831 года.

Девушка волновалась: семь лет они не видели друг друга. Какой будет встреча? Опасения ее оказались напрасными — Ивашев помнил и любил ее.

По прошествии двенадцати месяцев Камилла написала своей матери: «Год нашего союза прошел, как один счастливый день...»

11

«С особенной любовью вспоминаю здесь Одоевского, он имел терпение заниматься со мною четыре года, и доныне храню главные правила, написанные его рукой; а между тем он никогда не писал своих стихов, кроме «Колыбельной» сыну моему Кондратию, другую — сыну моему Евгению...»

(А. Е. Розен)

Спи, мой младенец,
Милый мой Атий,
Сладко усни!
Пусть к изголовью
Ангел-хранитель
Тихо слетит...

5 сентября 1831 года у Розенов родился сын, которого они в память Рылеева назвали Кондратием.

«Что будет с тобой? — глядя на него, думал Одоевский. — Поймешь ли ты отца своего и мать? Проникнешься ли уважением к их нравственному подвигу? Будешь знать ли того, чьим именем ты назван? Человека с помыслами редкой чистоты...»

Когда же ты, младенец, возъюнеешь,
Окрепнешь телом и душой,
И вступишь в мир, и мыслию созреешь,
Блеснешь взмужавшей красотой, —
Тогда к тебе сойдет другой хранитель,
Твой соименный в небесах!

. . . .

...И вспомнишь ты земной его конец,
И грудь твоя невольно содрогнется!
Но он, даруя цель земному бытию,
По верному пути стопы твои направит,
Благословит на жизнь, и нет — не смерть свою,
Но только жизнь в завет тебе оставит.

В ноябре 1832 года неожиданно скончалась Александра Муравьева. Ухаживая то за больным мужем, то за маленькой Нонушкой, ежечасно бегая из дома в острог, она сильно простудилась.

Муравьева была беременна, преждевременные роды, ребенок родился мертвым. Доктор Вольф оказался бессилен. В последние минуты она продиктовала родным прощальные письма, простилась с близкими, поцеловала куклу спящей дочери и умерла. Ей было двадцать восемь лет.

Николай Бестужев собственноручно смастерил для покойной деревянный гроб с винтами, внутрь которого поместили свинцовый. Но похоронить изгнанницу в России, в родовом склепе, царь не разрешил.

Муравьеву погребли в Петровском заводе, на погосте, рядом с двумя умершими ее дочерьми...

Ранняя смерть ее глубоко потрясла всех заключенных. Особо тяжело пережили это женщины. Никита Муравьев поставил над могилой жены каменную часовню с неугасимой лампадой над входом. Она горела много лет...

Одоевский был грустен этой осенью. Он еще не знал, что скоро уедет из Петровского завода и останется один посреди огромных сибирских просторов. Смерть обходила его пока стороной. Зато другого русского поэта настигла.

Сентябрь 1832 года

Гонимый гневною судьбой,
Давно к страданьям осужденный,
Как я любил в стране чужой
Мечтать о родине священной.
Я вспоминать о вас любил,
Мои младенческие годы, —
И юной страсти первый пыл,
И вьюга русской непогоды!..

Шишкова ценил и любил Александр Пушкин.

«До сих пор жалею, душа моя, что мы не столкнулись с тобой на Кавказе, — осенью 1823 года писал он из южной ссылки, — могли бы мы и стариной тряхнуть, и поповесничать, и в язычки постучать. Впрочем, судьба наша, кажется, одинакова, и родились мы, видно, под единым созвездием. Пишет ли к тебе общий наш приятель Кюхельбекер? Он на меня надулся бог весть почему. Помири нас. Что стихи? куда зарыл ты свой золотой талант? под снега ли Эльбруса, под тифлисскими ли виноградниками? Если есть у тебя что-нибудь, пришли мне — право, сердцу хочется».

В год декабрьского восстания он находился в самом сердце Южного общества — в Тульчине. А позади была бурная, полная драматизма жизнь. Племянник известного литератора и государственного деятеля, адмирала Шишкова, Александр Ардальонович Шишков 2-й с юных лет не разделял взглядов своего дяди, тяготея к свободолюбивым идеям.

Знакомство с лицеистами Пушкиным и Кюхельбекером развило его рано пробудившееся поэтическое дарование. В чине штабс-капитана в 1818 году Александр Шишков был арестован за политическую «провинность» и отправлен на Кавказ. В 1821 году он уже в Одессе, а еще через четыре года в Тульчине...

Начальство считало его дерзким вольнодумцем. Он действительно был посвящен во взгляды деятелей Южного общества. Арестованный в январе 1826 года, он вскоре благодаря заступничеству влиятельного дяди был освобожден. На следующий год его арестовали снова: за «стихи, писанные в пасквильном, дерзком, злобном и даже возмутительном духе...».

Его отправили служить в крепость Динабург. Однако здесь Шишков, по словам великого князя Михаила Павловича, «не токмо не старался загладить прежнего пре-

отупления своего хорошим поведением и усердием по службе, напротив...». В крепости поднадзорный нашел способы общаться с заключенным в темнице Вильгельмом Кюхельбекером.

В феврале 1829 года по распоряжению Николая I «за нетрезвое поведение и произведенную ссору» Александра Шишкова предают военному суду. Через год он был уволен в отставку «за неприличные званию офицерскому поступки». «Как человека вовсе неблагонадежного» его водворили под строгий полицейский надзор в Тверь, где он сильно бедствовал, так как обзавелся семьей и приходилось постоянно думать о заработке.

К тому времени он уже был известен в литературных кругах как даровитый поэт и прозаик. Летом 1831 года он тайно ездил в Москву, пытаясь договориться с тамошними литераторами и пристроить свои произведения в журналы. Узнав об этом, Николай I приказал: «Взять меры, чтоб впредь не своевольничал». Травля поэта усилилась...

А в сентябре 1832 года, придравшись к антиправительственным высказываниям Шишкова, некий поручик Чернов нарочно грубо оскорбил его жену. Начавшуюся ссору удалось потушить.

Спровоцированный местными жандармами, Чернов вскоре неожиданно подстерег Шишкова на темной лестнице и вонзил в его грудь кинжал.

12

М. К. Юшневская — С. П. Юшневскому:

«...Часа два тому назад брат твой простился с четырьмя своими товарищами, которые уехали на поселение, — Фаленберг, Одоевский, Игельстром и Муханов... Каждый раз прощания сии бывают очень трогательными. Родные братья не могут расставаться с большею нежностью, так как несчастие и одинаковость положения сближают. Представь себе, что все в слезах и все огорчены душевно...»

Расставание действительно было печальным.

По случаю рождения сына Михаила Николай I оказал «высочайшую милость», заменив некоторым «государственным преступникам» каторгу ссылкой на поселение.

— Прощайте, друзья!..

— До встречи, ежли пошлет ее бог!

В конце декабря Одоевский, Муханов, Игельстром и Фаленберг навсегда покинули Петровский завод.

Начиналась метель... Поднялся сухой колючий ветер. Одоевский привстал на санях и оглянулся.

Тюрьма, где провел он два каторжных года, медленно растворялась в летящем крупными хлопьями снеге...

Иркутск был чист, аккуратен, улицы просторны. Товарищи Одоевского получили направления на поселение, простились с ним и уехали.

Александра иркутский гражданский губернатор И. Б. Цейдлер вызвал к себе последним. В кабинете, куда ввели его, находился, кроме губернатора, средних лет человек.

Цейдлер поднес близко к глазам статейный список о «государственном преступнике» Одоевском, составленный комендантом Нерчинских рудников генералом Лепарским.

— Так-с! — щурясь, пробормотал он. — Александр Иванов сын Одоевский. Из княжеского звания, тридцати лет, холост, веры греко-российской... Так-с, приметы... Мерою два аршина девять вершков, лицом бел, волосы на голове темно-русые, глаза карие, нос продолговатый... Так-с, милостивый государь! — Цейдлер строго посмотрел на Одоевского, как бы сверяя, все ли сходится, и улыбнулся.

— Как поживает князь Иван Сергеевич? — неожиданно спросил он. — Здоров ли?..

Александр удивленно поднял глаза.

— Хорошо, ваше превосходительство! — чуть помедлив, ответил он.

— Давненько я его не видывал. А ведь и тебя встречал в Петербурге. Запамятовал?..

Одоевский неопределенно пожал плечами.

— До того ли было тогда! — кивком головы согласился с ним губернатор. — Конногвардейский полк... парады... женщины... пирушки!.. Молодо-зелено! — Цейдлер повернулся к мужчине, молчаливо сидевшему за столом: — А что скажет наш директор? Не поселить ли бывшего князь Александра в ваших местах! Согласишься, Протопопов?..

— Отчего же нет, Иван Борисович, — басом пророкотал мужчина. — Места наши изрядные, тут тебе и горы, и лес, и Ангара под рукой. Ну а варнаки у нас смирные, не обидят...

— Отлично! — Цейдлер торопливо потер ладони и, подойдя к столу, что-то отметил гусиным пером на большом листе бумаги. — Александр Степанович, я думаю, останется этим доволен.

Одоевский понял, о ком шла речь. Генерал-губернатор Восточной Сибири А. С. Лавинский приходился их фамилии дальним родственником. В своих письмах отец неоднократно указывал ему на это обстоятельство, могущее в сложившейся ситуации сыграть роль далеко не маловажную.

Впрочем, сейчас ему об этом не хотелось думать. Все мысли его были о поселении. Что за место? И кто этот директор Протопопов?

— Итак, решено! В случае затруднений прошу вас, князь, обращаться ко мне лично, без всякого стеснения.

Цейдлер кивнул Одоевскому.

— Поедемте со мной в Тельму, — вставая, сказал Протопопов. — На суконную фабрику, при которой поселитесь.

Одоевский пригнулся и, открыв дверь, вышел на крыльцо.

Человек выводил из конюшни небольшие сани, запряженные тройкой.

Ворота распахнулись... Кони рванули.

В мутном заиндевевшем окне губернаторского дома мелькнуло и тут же исчезло желтое в неверном свете лампы лицо Ивана Борисовича Цейдлера.

В Тельме Одоевскому как поселенному разрешили открыто переписываться с родными. Александр писал отцу каждую неделю, старательно нумеруя свои письма. Он знал, что переписка его находится под постоянным и неослабным надзором.

Отец все так же осыпал его упреками за «ужасное падение»...

Наконец в заводской поселок пришла весна: снег в поле отяжелел, лед на реке стал темным и опасным. Работавшие на фабрике крестьяне из бывших каторжников ожили, весело подставляя бледные, исхудавшие лица начавшему греть солнцу...

Одоевский, кроме Протопопова, почти ни с кем не общался, а с весной совсем захандрил: стихи не шли на ум, боли в груди усилились, он целыми днями не поднимался с постели, читая все, что приносил ему директор

фабрики, оказавшийся человеком культурным и добропорядочным.

Однажды в Тельму приехал молодой чиновник и увез Александра в Иркутск. Генерал-губернатор Лавинский желал видеть «государственного преступника»...

Губернатор, одетый по-домашнему, встретил его приветливо.

— Получил письмо от Ивана Сергеевича, — строгим голосом сказал он, когда дверь за камердинером закрылась. — Умоляет оказать содействие... Но что я могу сделать? — Лицо Лавинского стало озабоченным. — Государь лично контролирует все действия сибирской администрации касательно «государственных преступников».

Он задумчиво прошелся по светлой гостиной, потирая пальцами лоб. Потом повернулся к Одоевскому, нерешительно стоявшему у двери.

— Вот что, Александр Иванович! Садитесь за стол и пишите его величеству покаянное письмо.

Одоевский побледнел...

— Да, да, милостивый государь! — повысил голос генерал-губернатор. — Коль дали завлечь себя в это преступное дело, то сумейте и оправдаться на этом свете перед богом и государем!..

Александр молчал...

Как следует ему ответить? Слезные просьбы отца, проклятия друзьям, якобы затянувшим его в «гибельный водоворот» 14 декабря, мольба о помиловании... В каждом письме одно и то же.

— Садитесь за стол, сударь! — поджав губы, повторил Лавинский. — Садитесь, пока я не раздумал. Иначе я забуду о наших родственных отношениях!..

В последние два месяца одинокой жизни его мучила тоска. Жизнь проходила стороной, в будущем не видно было просвета.

— Князь!.. — голос генерал-губернатора зазвенел металлически и угрожающе.

Одоевский сел и взял в руки перо.

— Пишите на имя его величества!..

«Всемилостивейший государь!

Если искреннее и глубокое раскаяние человека, впавшего в преступление не по влечению сердца, но по заблуждению ума и молодости («Повторяю!.. — мрачно взглянув на напрягшегося Одоевского, сказал Лавин-

ский, — по заблуждению ума и молодости...»), может обратить на себя высочайшее воззрение вашего императорского величества, то я с полною надеждою на благость вашу дерзаю повергнуть к престолу вашего величества всепреданнейшую просьбу о прощении мне вины моей.

Всемилостивейший государь! Не опыт семилетних страданий и не желание облегчить участь мою побудили меня прибегнуть к великодушию вашего величества: я чувствую, я убежден сердечно и умственно, что вполне заслужил кару, определенную законом, и с должным терпением переношу свой жребий, но чем более убеждаюсь в вине моей, тем сильнее тяготеет надо мною имя преступника.

Снизойдите, великий государь, на просьбу мою, внушенную мне раскаянием, и единым всемогущим словом вашего императорского величества даруйте мне возможность утешить скорбного и нежного отца, усладить преклонные лета его, и принять при его разлуке с сим миром его прощальный взор и последнее отеческое целование» (рука его при этих словах дрогнула)...

Он машинально писал еще что-то и пришел в себя, услышав заключительные слова губернатора:

«...вашего императорского величества верноподданный

Александр Одоевской.

Апреля 2 дня 1833 года,
Тельминская фабрика».

Наступил уже вечер, Одоевский встал из-за стола, почти ничего не соображая, в голове бродила лишь одна усталая мысль: «Как все это противно!.. И нелепо!.. И напрасно...»

— Останетесь сегодня у меня! Покажите Одоевскому его комнату! — приказал Лавинский вошедшему камердинеру.

Допоздна просидел генерал-губернатор, сочиняя Александру Христофоровичу Бенкендорфу отношение к письму «государственного преступника» Одоевского.

Он заверял всесильного начальника III отделения «по долгу родственному и по совершенной известности всех чувств и помышлений Одоевского» в том, что «раскаяние его есть самое искреннейшее, не подлежащее ни малейшему сомнению» и что «тот недуг, о котором он (Одоевский. — *В. Я.*) упоминает, действителен и может быть при беспрерывных душевных страданиях скоро

истощил бы последние силы его, ежели б не подкрепляла оных надежда на милосердие и благость государя...».

Лавинский многократно перечитывал свое отношение, раздумывая и сомневаясь, не слишком ли заинтересованно. И решился послать его только через две недели.

Даже он не мог предположить, что очень скоро на обращении его после негодующего и раздраженного отказа императора появятся следующие слова графа Бенкендорфа: «К делу. Приказано оставить без производства...» К тому же Николай I, просматривая списки и распределения ссыльных по местам, выразил резкое неудовольствие самоуправством генерал-губернатора Лавинского, направившего «государственного преступника» Одоевского в Тельму. Против фамилий Беляева, Одоевского, Фаленберга и Мозгана он начертал своим небрежным почерком: «...на заводских поселениях, как ныне, так и впредь не жить; отправить в другие места».

В июне 1833 года Александра Одоевского выдворили в село Еланское, в тридцати шести верстах от Иркутска...

У одного из местных крестьян он снял комнату.

К утру разнепогодилось... По желтым дрожащим стеклам настойчиво застучал крупный снег, на крыше зашуршал соломой поднявшийся ветер.

В комнате Одоевского потрескивала свеча.

Александр лежал на кровати. В снежном буране, в порывах налетавшего на деревянный дом ветра внезапно почудился ему отдаленный гул далекого декабрьского дня, так резко изменившего его судьбу.

Восемь лет прошло с тех пор.

Грибоедов в могиле... Не светит для него высокое небо! Погасло...

Не обнимает свежий утренний ветер. Растаял...

Не манят взглядом родные черные глаза. Покрылись печалью...

А Кюхельбекер? Где он сейчас?.. В каких сибирских просторах затерялся? Ни слуху ни духу!

Встав, Александр поморщился и прижал руку к груди. Боль не стихала. Проклятая жаба!..

Где ж ты, друг мой? Доведется ли услышать твой хриплый протяжный голос? Увидеть нескладную фигуру?..

Елань заметало снегом...

Быв заключенным в Свеаборгской крепости, Кюхельбекер вспомнил своих друзей по духу и несчастью накануне дня их ангела и записал в «Дневник узника»:

«Что делают мои именинники: Александр Ив. О(доевский), Александр Александр. Бестужев,... и Пушкин? — Дай боже им, — если не счастья (оно на земле не бывает), по крайней мере — спокойствия сердечного, которое лучше во сто крат того, что в свете подчас выдают нам за счастье!..»

13

Елань заметало снегом...

Свеча в комнате не погасала. Одоевский писал письмо, лежа на постели...

«...мое существование здесь довольно однообразно. Занимаю я одну комнату, которую отделал сам, как я уже сообщал вам; род маленького фонаря: ибо на квадрате в две с половиной сажени — четыре окна, довольно больших. Это — мой эрмитаж. Я почти не выхожу из него; потому что вы, может быть, помните, что я всегда был врагом пешего передвижения. Иногда я совершаю маленькую прогулку на санях по улицам, или, вернее, по переулкам деревни. Через четверть часа я возвращаюсь, чтобы усесться на постели и читать какое-нибудь произведение, которое мне полюбилось, напр., летописцев моей родины, или принимаюсь размышлять о плане какой-нибудь поэмы или трагедии, которую, может быть, начну, но которую никогда не кончу, по милости разборчивой совести: еще никогда она не была довольна ни одним моим эпическим или трагическим планом и почти ни одной моей пиесой. А если я теперь когда-нибудь сочиняю их, стараюсь забыть: это для меня тем легче, что я почти никогда не кладу своих стихов на бумагу, как вы давным-давно знаете это. С очень давних пор история России служит источником моих обычных вдохновений — древняя история, столь простая и иногда столь прекрасная в устах наших монахов-летописцев.

Если я, может быть, не поэт в истинном значении этого слова, все же я очень люблю поэзию и литературу, больше, чем все остальное в сфере искусств и человеческих знаний...»

Он отложил в сторону перо и, подойдя к фортепиано, присланному недавно из Петербурга, нажал на клавишу.

Высокий мелодичный звук заставил его вздрогнуть. «Эх, мазурку бы сейчас! — От этой мысли стало на душе его весело. — Прошелся бы, как в былые времена, у графа Апраксина!..»

В хлеву замычала корова. Осторожно звякнул железный запор калитки, в дверь постучали.

— Войдите! — сказал Одоевский. — Кто там?

Дверь нерешительно, со скрипом отворилась.

На пороге стоял пожилой крестьянин и мял в покрасневших руках большие меховые рукавицы.

— Здравия желаю вашему благородию! — глухим басом, по-военному подтянувшись, произнес он.

— Здравствуй! — удивленно ответил Одоевский, разглядывая незнакомое морщинистое лицо. «Не из посельщиков ли?..»

— Машка заболела, — обмякнув, уныло пробормотал крестьянин. — Встать не может, ноги подкашиваются. Ну я вот и...

— Какая Машка?

— Кобыла моя.

Одоевский, ничего не понимая, пожал плечами.

— У вас четыре лошади, не одолжите ли до вечера одну? Дрова завезти хочу, совсем изба промерзла, а на полатях четверо малых!

— Пожалуйста, возьмите хоть две, в конюшне стоят! — воскликнул Одоевский.

— Вот спасибо! — оживился крестьянин. — Это я мигом тогда, дотемна обернусь.

Дверь за крестьянином закрылась.

В комнате похолодало.

Одоевский поежился... «В Петербурге сейчас туман, — почему-то подумал он. — Снег, наверное, выпал. На Невском скрип полозьев, газовые фонари, смех женщин, крики извозчиков... У театрального подъезда множество карет. Тепло, музыка, блеск орденов и бриллиантов в партере... Что нынче там дают?.. — Потом спохватился: — Эк, разошелся ты, однако! Ну-ка, спустись с небес на землю. Что видишь ты кругом? Сибирские просторы? То-то же!..»

...В Елани, затерянном сибирском селе, окруженном густыми лесами и невысокими холмами, заселенном в основном «старожилами, за исключением четырех или пяти посельщиков», Одоевский провел три томительных года...

На новом месте отпустившая было грудная боль усилилась, при быстром шаге или некрутом подъеме начиналась одышка, и потому большую часть времени Александр проводил дома.

Иван Сергеевич, обеспокоенный здоровьем сына, слал вместе с бесчисленными советами и различные лекарства.

Ланские сообщали, что в Карлсбаде им не понравилось, что намереваются они направиться в Париж, где Дмитрию Сергеевичу должны сделать операцию камнедробления. Милой Варваре Александровне оставалось уповать лишь на бога...

С приходом ранней осени начались затяжные дожди. Окрестные леса и холмы оголились и почернели. По ночам стал завывать в трубе ветер...

Александр часами не вставал с постели. Вспоминая Николаевское, он пытался представить свою сводную сестренку Мари, о чьей тяжелой болезни сообщал отец. Как выглядит эта семилетняя девчушка?..

Хоть раз взглянуть бы на милые сердцу края! Увидеть отца, Петербург, зайти к Ланским... Вот и Софи уже выходит замуж. Пишут, что супруг ее, Александр Корнилов, человек вполне достойный и уважаемый.

Изредка до Одоевского доходили вести от товарищей по ссылке. Кто-то неплохо устроился на поселении, иные бедствовали... Этой же осенью он обратился к генерал-губернатору Восточной Сибири Лавинскому с просьбой на разрешение получить от родственников своих «единовременно три тысячи рублей для раздачи товарищам, по бедности своей нуждавшимся в пособии».

Император не дал на это «высочайшего соизволения», указав, что и на личное содержание самого Одоевского должно тратить не более одной тысячи рублей. Лавинский же сквозь пальцы смотрел на то, что денежные суммы, поступавшие на имя поселенного в Елани «государственного преступника», нередко превышали определенную сверху.

Это дало возможность Одоевскому довольно сносно устроить свое жилище и хозяйство. Он приобрел сельскохозяйственный инвентарь: телеги, сани, сохи, бороны; обзавелся лошадьми, свиньями и коровой...

С небольшой охотой, но изредка обрабатывал землю, арендованную у крестьян, «видя в этом понудительное средство к физическому труду и к передвижению».

Читал он бессистемно, все, что присылали из дома: «Библиотеку для чтения», «Revue Entrangère», различные газеты... Елань вовсе не Петровский завод, где действовала «каторжная академия». Поделиться мыслями было не с кем. Единственная отдушина — письма к отцу и родственникам, изредка к сибирским друзьям... Зная, что переписка перлюстрируется, он часто допускал в своих письмах тон возвышенный и неискренний... Однако надежды на «высочайшую благосклонность» гасли, как спички на ветру. И снова он погружался в чтение, умоляя отца: «Моя первая и единственная просьба, — книг, книг, если это возможно, особливо отечественных».

Любимые его писатели — Руссо, Монтескье и Шекспир. В российской словесности ценил он прежде всего исторические романы, путешествия, древние летописи...

В письмах он успокаивает отца, находящегося в постоянной тревоге за сына: «Вы напрасно беспокоитесь: почему Елань до такой степени пугает Вас? Местоположение не так ужасно, как вы себе представляете. Хотя Елань окружена лесами, но вид, благодаря подъему почвы простирается до хребта очень отдаленных гор. Селение находится у подножья продолговатого холма, прежде чем достигнуть опушки этих лесов, вам нужно еще много итти через тучные пастбища и очень плодоносные поля. Полагаю, что радиус круга, образуемого долиной, где находится Елань, будет приблизительно версты в четыре.

...Вы питаете ко мне такую нежную любовь, что все вас пугает. Помните, сколько опасений было у вас насчет Тельмы? Не писали ли вы мне, что я буду окружен *варнаками,* как вы выразились; хотя это слово употребляется только как ругательство, а не как наименование класса этих несчастных. В Тельме были только *крестьяне;* те кто были каторжниками, сделались крестьянами, благодаря особому распоряжению правительства.

Что касается Елани, то тут находятся только *старожилы,* за исключением четырех или пяти посельщиков; и я — в безопасности от всех возможных неприятностей... — И тут же, подумав о недавней смерти сестренки Мари, добавляет: — ...обнимаю моих братьев и сестер и оплакиваю Мари: — боюсь говорить вам об этом!.. и что я могу сказать вам? Бедная Мари — на небе: не плачьте о ней, хотел я вам сказать, или, лучше, я совсем не хотел вам говорить об этом!»

В перерывах между чтением находили на него приступы хандры, тоска по дому, безумное желание вырваться из Сибири. Ради этого он шел на многое, даже на компромисс с собой, допуская в письмах некоторые выражения, которые будут, несомненно, приятны отцу, надеявшемуся на «всемилостивейшее прощение».

Еще в 1832 году Иван Сергеевич ходатайствовал перед А. Х. Бенкендорфом о назначении местом ссылки для сына Кургана. «...Дважды посетив этот город, где я командовал моим бывшим драгунским полком, — писал он, — я хорошо знаю это место. Сюда я могу до смерти моей поехать, чтобы прижать к сердцу моего сына». Просьбу старый князь повторял неоднократно. Но высочайшая резолюция была одна: «Приказано оставить».

С мутным дождливым рассветом надежды гасли.

А к ночи, как птица Феникс, возрождались из пепла.

«Вот уже две почты, как я не получаю от вас писем: без сомнения, вы находитесь в дороге. О, если бы когда-нибудь его величество император позволил вам отправиться в путь, чтобы провести несколько дней со мной! Вы хорошо знаете, что мое счастье было бы невыразимо; но, к сожалению, это — только сладкая мечта, которой не суждено сбыться, хотя вы не раз выражали желание посетить меня в Сибири и своим присутствием оживить мое существование, которое всецело посвящено вам...»

Увы!..

14

А. И. Одоевский — И. Д. Якушкину:

«Прошел год с тех пор, как я расстался с Вами, любезный Иван Дмитриевич! и еще ни разу не писал к Вам; но Вы — не правда ли? — Вы были уверены, что я Вас помню. Иногда много лиц проходят мимо меня (длинною вереницею), но Вы одни из тех, которых мое воображение живее осуществляет, долее задерживает перед глазами. Отчего так? Кажется, мы не часто и не много уверяли друг друга в чувствах взаимной приязни: а между тем — я верю в Вашу дружбу. Сколько раз брал я в руки Вашего Бейрона! Нередко бывает, что я и строки не прочту в нем; но непременно заведу с Вами беседу, — без всякого спора, мирно и дружно, с искреннею и неизменною любовью.

Знаете или нет: *где я и каково мне?* Но, во всяком

случае, я уверен, что Вы только об одном у меня спросите: *что я?* Да как Вам отвечать? Тот же? Нет, по врожденному самолюбию, право, мне кажется; несколько лучше! потому что я чаще бываю с самим собою. Впрочем, не спрашивайте, что я произвел? Почти ничего. Читаю много, творю мало; но зато если у меня (авось!) что-либо выльется, то, без всякого сомнения, с большей отчетливостью противу прежнего; ибо, благодаря моему одиночеству, я могу весь жить в моем предмете: внешний мир меня не развлечет...

Прощайте! Дайте мне пожать Вашу руку и повторить, что я Вас помню живо и люблю горячо: есть чувства, которые глубоко западают в мою душу.

Вам преданный *Александр Одоевский*.

27 фев[раля] 1834.

P. S. Дружески поклонитесь от меня И. И. Пущину: я дорожу его памятью; скажите Фердинанду Богдановичу (Вольфу. — *В. Я.*), что я сохранил к нему те же чувства: приязнь за приязнь и признательность за то, что не криво гляжу на мир, хоть в вещественном смысле».

Зима в Елани выдалась снежной и ветреной.

Местные жители порой обращались, поначалу робко, к Одоевскому за помощью и советом. В первом он никогда не отказывал, в вопросах же сельскохозяйственных (относительно земли, пахоты, урожая...) разбирался значительно хуже их.

Из дома приходили печальные вести: после сестренки Мари ушел из жизни петербургский дядюшка Дмитрий Сергеевич Ланской. Не выдержал мучительной операции на почке, которую после долгих оттяжек все же решился сделать ему знаменитый хирург. Не следовало оперироваться ему на седьмом десятке лет!..

Весна пришла в эти края рано. Вскрылась за холмом речка, небольшую деревянную церквушку крестьяне украсили первыми полевыми цветами. Ночи еще оставались прохладными, но днем уже изрядно припекало.

Боясь простудиться, Александр редко выходил из дома.

В июле 1834 года, купив у выехавшего из села зажиточного мужика целый дом, он обратился к иркутскому гражданскому губернатору с просьбой: дать свое «соизволение на постройку ограды, анбара, завозки, конюшни и хлева; для чего по настоящей дороговизне нужно будет

не менее двух тысяч рублей. Мои родные, всегда готовые удовлетворить всем моим нуждам, без сомнения ожидают, на счет присылки подобной суммы, только разрешения вашего превосходительства...».

Иван Богданович Цейдлер дал свое согласие.

Но Петербург распорядился «посылаемые в адрес ссыльных деньги выдавать мелкими суммами, не свыше 100 рублей, и требовать оправдательных документов в израсходовании».

Отказ огорчил Одоевского, так как часть денег он намеревался послать нуждавшимся товарищам по неволе. Пришлось изыскивать какие-то иные пути...

Хозяйством он скоро обзавелся довольно обширным.

Недомогание тяготило его. Погода установилась в Елани хорошая, но непостоянная: в полдень — невыносимая жара, ночью — прохладно. Несмотря на все предосторожности, он простудился и «получил такую боль в горле», что с трудом мог говорить. Шею он ежедневно натирал летучим спиртом своего состава. Это, кажется, помогало ему.

Отца Александр старался не волновать своими болезнями. Иван Сергеевич сам чувствовал себя неважно; участилась одышка, нестерпимо болело в боку... Князь собирался показаться столичным докторам, а заодно и навестить родных.

«...Простите, мой нежно любимый отец, что я так давно не писал вам; все эти дни мне было так грустно, что я не мог взять пера в руки: мои письма были бы отражением чувствований моего сердца, которое очень мучилось в течение этих двух недель, хотя я и сам не знаю причины этих моральных страданий: моя судьба — страдать... В глубине души я храню полную покорность провидению; теперь я чувствую себя хорошо: моя грусть проходит, когда я думаю о вашей привязанности ко мне и о вашем отеческом попечении...»

С каждым месяцем росла библиотека Одоевского, ширился и его интерес ко всему новому, что появлялось в русской и зарубежной литературе. Чтение — по-прежнему его любимое и единственное занятие. С книгами он не так ощущал свою оторванность от умственной жизни общества.

«...Словарь Bowl'я и английские произведения... еще не доставлены мне... Тем не менее я надеюсь скоро получить этот словарь, который стал для меня предметом

самого живого ожидания, с тех пор, как я погрузился в изучение Шекспира. Благодарю, тысячу раз благодарю — за рисунок с изображением его могилы, за его портрет и за его биографию... Все, что имеет отношение к этому поэту-философу — представляет для меня особенную прелесть. Что касается портрета, то Варвара Ивановна давно снабдила меня им — вместе с экземпляром полного собрания его сочинений и с толковым словарем, который к нему приложен».

За книгами он забывал все: Сибирь, Елань, свое одиночество...

Он делился с отцом, со своим единственным по-настоящему читателем и оппонентом, мыслями по поводу прочитанных книг и журналов: защищал «Воспоминания о Востоке» Ламартина от нападок «Библиотеки для чтения», упрекал автора «Путешествия в Палестину...» А. Муравьева в «неопределенности общих мест»...

Он ворошил прошлое, в коем было много радостного и печального...

«...Не знаете ли вы случайно артиллерийского полковника, Авраама Норова, путешественника с деревянной ногой и автора поездки в Сицилию, — одну из тех поездок, которые можно совершить, не выходя из дому? В настоящее время он, верно, в Москве, если не предается больше своей страсти видеть свет. Так вот мы имели намерение ехать вместе весною 23 года в Египет и в Палестину. Нечто более реальное был мой проект отправиться в Персию вместе с добрым и дорогим Александром Грибоедовым. Двумя годами ранее я умолял вас позволить мне присоединиться к моему дяде, и всецело посвятить себя служению искусствам и наукам: итак, три раза упускал я случай избежать моего заблуждения этих трех месяцев... Прошлое поглотило все, — это столь неумолимое прошлое; и затем — по прошествии десятка лет человек так мало походит на самого себя, что, когда мысленно восстанавливает свою собственную прежнюю личность, — ему кажется, что читает — некролог...»

С наступлением холодов Одоевский заперся в своем доме, словно в крепости...

В начале января 1836 года к нему заехал бывший директор Тельминской суконной фабрики Протопопов.

— У меня просьба к вам, Александр Иванович. Вы помните Куркутова, бывшего хозяина дома, где жили вы раньше?



А. И. Одоевский.
Гравюра Л. Серякова по акварельному рисунку
Н. А. Бестужева.



И. Д. Якушкин.
С портрета Ш. Мозера.

Привал декабристов по пути из Читы в Петровский завод.
Акварель А. И. Одоевского. 1830 г.



М. А. Бестужев. Акварель Н. А. Бестужева. 1838—1839 гг.

Польское восстание 1830 года. Площадъ Сигизмунда в Варшаве. Акварель Дитриха.



Петровский завод. Рисунок Н. А. Бестужева, удостоверенный А. Е. Розеном.

Начало письма А. И. Одоевского к отцу ▶ от 22 ноября 1833 г.



Mon cher Papa,

~~Votre lettre No.~~ 23 du ~~10~~ oct. m'a été remise avant-hier. Je vous dois de sincères remerciments pour la copie de la lettre d'Elise. Cette bonne et aimable Cousine

Вид Петровского завода. Акварель Н. А. Бестужева.

В Тифлисе. Рисунок Г. Гагарина. 30-е гг. XIX в.

Н. Н. Раевский (младший). Портрет работы неизвестного художника. 1821 г.



А. А. Бестужев-Марлинский на Кавказе. Портрет работы неизвестного художника. 1839 г.

М. Ю. Лермонтов. Портрет работы П. Заболотского. 1837 г.



Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Памяти Одоевского». Автограф.



А. И. Одоевский. Акварель М. Ю. Лермонтова. 1837 г.



Н. В. Майер. Автопортрет.

Могила А. С. Грибоедова в Тифлисе на горе Мтацминда.
Литография П. Бореля. Середина XIX в.



Н. А. Грибоедова (Чавчавадзе) — жена А. С. Грибоедова. Портрет работы неизвестного художника.



А. И. Одоевский на Кавказе. Рисунок карандашом, удостоверенный А. Е. Розеном.

М. П. Лазарев. 30-е гг.



Высадка десанта на Абхазском берегу 2 мая 1839 г.



А. И. Одоевский на Кавказе. Рисунок неизвестного художника.



Н. И. Лорер на Кавказе. Портрет маслом Р. К. Шведе. 1841 г.

И что же мерзлый ров, не снеговой увал
Моей мечте подарят последним новосельем;
Но кроткий [illegible] отрешенный [illegible]
Гостей бездомный прах разбросит по ущельям

1838 года
во Сентябре в Пятигорске Почерк А. И. Одоевскаго.

Последняя строфа стихотворения А. И. Одоевского «Куда несетесь вы, крылатые станицы...» с надписью А. Е. Розена.

Пушка-единорог 1817 года.





Памятник поэту-декабристу А. И. Одоевскому в Лазаревском.

— Да, конечно. Он ведь, кажется, под следствием?

— Третий год уже, хоть и невинен вовсе. И все из-за скоропостижной смерти одного из четырех пойманных тогда братских конокрадов. Многочисленное семейство его уже три года бедствует без хозяина. Единственный трезвый и честный крестьянин в Елани — тот под арестом.

— Но чем я могу?

— Попросите брата губернатора, Франца Богдановича, замолвить за него слово перед господином Гагманом. Дело скоро перейдет в губернский суд. А Цейдлер к вам хорошо относится...

Одоевский обещал. И, в свою очередь, попросил Протопопова передать Францу Богдановичу, что у него есть продажная рессорная бричка. В июле выйдут на поселение много его товарищей — Муравьевы, Лунин, Свистунов, Анненков, Волконский... И все они нуждаются в экипажах. Обычным путем продавать бричку нельзя, так как все пойдет в Казенную палату.

— Обязательно передам все, как сказали! — заверил Александра Протопопов и тотчас уехал.

Оставшись один, Одоевский сел за фортепиано и стал наигрывать один из грибоедовских вальсов.

Как вырваться из холодных сибирских темниц?..

15

Секретное донесение господину главноначальствующему над почтовым департаментом кн. А. Н. Голицыну:

«...Наблюдая постоянно за всею без исключения корреспонденциею Петровского Завода, где заключены государственные преступники, я в переписке б. иркутского гражданского губернатора Цейдлера, коменданта завода — генерала Лепарского и плац-адъютанта Клея, родственника Цейдлера, весьма часто встречал участие сих лиц в положении некоторых преступников. Но письма их в этом отношении были всегда так темны, так неопределенны и часто перемешаны французскими и немецкими словами, что я не мог знать, в чем состоит их участие и поэтому не доводил о них до сведения вашего сиятельства. С последнею почтою родной брат Цейдлера, управляющий Иркутским комиссариатским комиссионерством, посылает к Клею письмо преступника Одоевского. Этим письмом открываются несколько доселе совершенно темные связи их и отношения Одоевского. Хотя настоящий

случай не открывает в сих связях ничего особенно важного, но я не смею оставить его без представления вашему сиятельству по следующим убеждениям:

Рассуждая только об одном сем случае, я нахожу Клея изменяющим своему долгу на порученном ему посте, по моему мнению, требующем неумолимой строгости в исполнении его обязанности, равно и Цейдлера, брата губернатора, хотя простодушным, но не менее вредным посредником.

Письма Одоевского посылается только один пол-лист, а другой удержан Цейдлером. Кто может поручиться, что удержанная часть письма не заключала в себе чего-либо важного!

Подлинные письма я отослал по принадлежности в намерении с такою же точностью удостовериться ответом Клея в действительном его участии, а к вашему сиятельству имею честь представить полную копию с письма Одоевского и выписку из письма Цейдлера.

Не могу скрыть пред вашим сиятельством, что я не совсем уверен, что Клей ответ свой пошлет почтою. Из переписки их, рассматриваемой еще при самом начале учреждения здесь перлюстрации, я видел, что они всегда опасались почты и потому пересылали свои письма с проезжающими или с нарочными...»

Действительный тайный советник Александр Николаевич Голицын был человеком религиозным, основательным, противником всякой и всяческой крамолы... «Еще Одоевский пишет и просит написать к тебе, — пришлепывая старческими губами, стал вслух читать он приложенную к донесению записку Ф. Б. Цейдлера, — чтобы ты сказал, что у него есть продажная бричка... чтобы ты деньги выслал ко мне, а для чего: то посылаю тебе его письмо, которое ты сейчас уничтож».

— Я вам уничтожу! — вознегодовал Голицын и, позвонив лакею, спешно собрался в Зимний дворец.

Бенкендорф провел его в царский кабинет.

— Ваше величество! — сказал Голицын. — И в холодной Сибири...

— Продолжайте, князь! — подбодрил его Николай.

Через полчаса, внимательно выслушав доклад, он отпустил князя и положил на оставленной им записке резолюцию: «Прочтем в месте, довольно важно!»

— Государь! — прочитав записку, произнес граф Бенкендорф. — Я не совсем понял. Быть может...

— Взять объяснение от генерала Броневского! — жестко заключил Николай I. — Что он думает по сему поводу?

— Слушаюсь, ваше величество! — Александр Христофорович низко склонил крупную облысевшую голову.

Генерал-губернатор Восточной Сибири С. Б. Броневский — военному министру А. И. Чернышеву:

«По почтеннейшему предписанию вашего сиятельства от 2 апреля с. г. № 139 имею честь всепокорнейше изложить историю связей плац-адъютанта Петровского Завода Клея и управляющего Иркутским комиссариатским комиссионерством Цейдлера с государственным преступником Одоевским, водворенном в селении Еланском, от г. Иркутска в 35 верстах. Начну с того, что б. гражданский губернатор Цейдлер очень короток, по давнему ли знакомству или по чему другому, с отцом государственного преступника Одоевского, отставным ген.-м., князем Одоевским, жительствующим близ губ. города Владимира, это замечается из писем Одоевских, переходящих через мой досмотр, из коих видно: что д.с.с. Цейдлер, проезжая прошедшую зимою из Иркутска через г. Владимир, имел свидание с кн. Одоевским, и что отставной надворный советник Протопопов, бывший директор Тельминской казенной суконной фабрики, где прежде находился на жительстве преступник Одоевский, проезжая этою же зимою из Иркутска, был у кн. Одоевского в его деревне, что под г. Владимиром, и, в изъявление благодарности за покровительство его сыну, к коему он в переписке своей оказывает всегда чрезвычайную нежность, чествовал Протопопова отличным образом, «на славу» — как выражается князь в письме от апреля месяца к сыну. Если Протопопов отважился взять и только передать князю Одоевскому письмо от сына, в противность запрещения, то это еще ни к чему не ведет: ибо престарелый отец не позволит любимому сыну, которого в продолжение девятилетнего заточения он беспрестанно осыпал упреками за ужасное падение, сокрушившее старца, имевшего в нем единственную подпору; да преступник Одоевский, по примечаниям моим, преисполнен раскаяния и негодования на самого себя, спокойствие и веселый нрав его выражают ясно, что голова его не отягчена черными думами.

Протопопов жительствует теперь в С.-Петербурге,

плац-адъютант Петровского завода Клей, где содержатся государственные преступники, — родной брат жены д.с.с. Цейдлера, находящегося теперь в С.-Петербурге при министре внутренних дел, а управляющий иркутским комиссариатским комиссионерством Цейдлер — родной брат ему Цейдлеру и в тесных связях с Протопоповым. От этого действительно могли быть частые сношения преступников мимо рук правительства...»

Этим донесением император остался недоволен.

— Прошу, Александр Христофорович, разобраться во всем, особо учитывая, что сибирской администрации не только непристойно, но и опасно входить в какие-либо связи с государственными преступниками!..

Начальник III отделения понял, что ему необходимо действовать.

Результатом его «кропотливой работы» был перевод Ф. Б. Цейдлера и И. И. Клея «во внутренние губернии империи»...

— Что ж, Александр Христофорович! — войдя в свой кабинет, сказал император. — Читал я его пиитическое послание. И надо сказать, тронуло оно меня. Вы помните?..

— Да, государь! — Бенкендорф достал из кармана плотный лист бумаги и развернул его.

Всю жизнь, остаток прежних сил,
Теперь в одно я чувство слил,
В любовь к тебе, отец мой нежной,
Чье сердце так еще тепло,
Хотя печальное чело
Давно покрылось тучей снежной...

Голос у Бенкендорфа был глух и низок.

— Очень чувствительно! — заметил Николай I. — Строки сии тронут любого отца.

— Согласен с вами, ваше величество! — моргнув рыжеватыми ресницами, поддакнул шеф жандармов. — Старый князь буквально завалил нас своими слезными просьбами.

— Однако родственным чувствам потакать в таком деле не следует, — нравоучительно произнес император. — Слишком преступна и безнравственна во всех смыслах вина моих «друзей 14-го». И все же в просьбе

светлейшего князя Варшавского, чье определенное отношение к этим людям известно, мне трудно отказать.

— Граф Иван Федорович не подписал свою записку, — ревниво возразил Бенкендорф.

— Достаточно того, что она им продиктована. Прочтите ее еще раз!..

Бенкендорф надел очки.

— «Александр Одоевский, третий год поселен в Восточной Сибири, в деревне Елане. Нельзя ли переместить его в Западную Сибирь в город Ишим или в Ялуторовск?»

— Сообщите Ивану Федоровичу, что из уважения к нему я согласен.

— Хорошо, государь!

Через день, 27 мая 1836 года статс-секретарь Мордвинов по указанию Бенкендорфа сообщил генерал-адъютанту Паскевичу:

«По принятому вашей светлостью участию в просьбе родственников Одоевского о переводе его в Ишим, государь император высочайше повелеть соизволил поселенного Иркутской губ. в селении Еланском государственного преступника Одоевского перевести Тобольской губ. в г. Ишим».

Когда-то Александр Грибоедов умолял всесильного генерала Паскевича помочь Одоевскому. Граф отнекивался, хмурился, вяло обещал... И лишь по настоянию своей жены и ее родственников он решился наконец обратиться к царю. Через семь лет после страшной смерти полномочного министра в Персии...

В Иркутске Александр ненадолго задержался у Цейдлера.

Франц Богданович был мрачен. Над головой его собиралась гроза. Он только что приехал от генерал-губернатора Броневского, коему давал объяснения по поводу связей его с «государственными преступниками». Там же ему стало известно о доносе в Петербург иркутского губернского почтмейстера Меркушова.

— Вот письма к вам и посылка! — сказал он Одоевскому и нахмурился. — Я рад вашему отъезду в Ишим. Все ближе к дому. Возможно, меня в Иркутске скоро не будет. Тогда уж... — Он развел руками. — Как-нибудь...

Одоевский распечатал письмо. Оно было от Варвары

Ивановны Ланской. В конверте находилась и записка от старого приятеля Егора Комаровского.

Через десять минут Александр сел за стол.

«Дорогая и любезная тетушка. Вы заставили меня испытать чувство невыразимого удовольствия. Раскрывая ваше милое письмо, я нашел в нем записку и тотчас узнал в ней дружеский почерк, память которого мне дорога во многих отношениях. Хотя о графе Георгии я имел известия через моего отца, но мне не доставало подробностей об обстоятельствах его жизни в течение протекших десяти лет и с тех пор как бездна разделила нас навсегда. Я ему очень обязан за его собственноручный очерк. Выражения сочувствия, которые он посвящает памяти моей драгоценной матери, меня глубоко тронули. О, моя ангельская матушка! Я никогда не могу думать о ней без глубокого волнения.

...Граф Георгий принадлежит к числу тех немногих, кто знал мою добрую и прелестную матушку и кто еще помнит о ней спустя целых пятнадцать лет. Это еще одно звено, связывающее меня с этим другом моей юности. Вообще его записка возбудила во мне целый рой воспоминаний, сладких и грустных. Своим оповещением меня о том, что он женился на сестре поэта Веневитинова, он напомнил мне об этом прелестном юноше, об этом своем зяте, которого, быть может, он даже сам и не знал. Первый и единственный раз, когда я его встретил, было на балу у Степана Степановича Апраксина, в вихре котильона, составленного самым забавным образом: он должен был делать выбор между тремя богинями, молодыми лишь своими нарядами и которые для придания себе более оживленного вида жеманно потряхивали золотыми и шелковыми привесками к своим пестрым тюрбанам. Его манера держать себя выдавала недавнее вступление в высший свет; но облик вполне изящный, — что гораздо труднее встретить, чем изящество в манерах, — и улыбка, полная грусти, неуместность которой он старался скрыть под оттенком легкой иронии; все это дало мне почувствовать, что он был далек и от этого бала, и от этого мира. Я спросил его имя у одной из Зизи прошлого столетия, с которой танцовал. «Это премилый поэт, — небрежно отвечала она, — и вместе с тем художник в живописи и в музыке». Вскоре после этого мне дали прочесть его стихи, в которых замечались не только поэтические мысли в соединении с порывами юной впечатлительности,

как у Бенедиктова, но и глубокое чувство, которое столь редко встречается в русских стихотворениях. Три года спустя я узнал о смерти поэта...

Очень благодарю его (графа Георгия. — *В. Я.*) за присланные мне книги; жалею, что они пострадали в дороге. Виктор Жаклюн в клочках, как и С.-Бев и Крылов. Мне очень любопытно почитать Менцеля, но я только из Ишима могу послать вам небольшой список, который попрошу вас передать графу Георгию и в котором я отмечу все, что мне нужно: я знаю доброе дружеское расположение ко мне графа и уверен, что ему доставит удовольствие, что я обращусь к нему непосредственно и тем самым исполню его собственное желание.

Я исполню высказанное вами в вашем письме желание и возьмусь за перо, чтобы написать двоюродной моей сестре, княгине Варшавской; я давно бы это сделал, если бы не боялся *докучливой* горечи, связанной с памятью обо мне. Вот почему я пишу так редко и вам, моей тетушке, которую я сильно люблю...»

16

«Ишим и для меня что-то особенное. Я снова начинаю работать...»

(А. И. Одоевский — В. К. Кюхельбекеру)

4 июля 1836 года Семен Богданович Броневский сообщил генерал-губернатору Западной Сибири Д. Д. Горчакову об отправлении «по высочайшему повелению государственного преступника Одоевского в Тобольск под надзором одного казака, которому выдана тысяча рублей, принадлежащих Одоевскому, для расходования их, по мере надобности, на самые необходимые издержки».

Дом и имущество отъезжавший передал поселенному на его место В. И. Штейнгелю.

В Тобольск Одоевский прибыл 16 августа, а через пять дней уже появился в Ишиме.

...Ишимский острог, называвшийся ранее Коркинской слободой, был расположен на берегу Ишима. Более шестидесяти лет назад, при императрице Екатерине II, к острогу приписали уезд и назвали его городом, хоть и домов в нем насчитывалось чуть больше ста...

Поселился Одоевский на Ярмарочной улице, в доме Филиппа Евсеевича Лузина, на берегу реки. Настроение у Александра поднялось. Ишим дал толчок его творче-

ству, он почувствовал это с первых дней пребывания на новом месте. Горожане отнеслись к поселенцу заинтересованно и доброжелательно.

Через неделю после приезда Одоевского в Ишим в дом его постучался высокий незнакомый человек. Одет он был в черный сюртук, коротко стриженные усы и бакенбарды оттеняли его бледное, осунувшееся лицо. В больших внимательных глазах таилась горечь.

— Адольф Михайлович Янушкевич! — коротко представился он. — Уроженец Польши, здесь на поселении с апреля месяца. Не так давно виделся с вашими курганскими друзьями. Они рекомендовали вас, передали со мной приветы.

Одоевский оживился.

— В Кургане много наших: Лихарев, Назимов...

— Вас обнимают и Лорер и Нарышкин.

— Очень рад видеть вас! Заходите, располагайтесь!

За разговором просидели они до поздней ночи.

Нелегко сложилась судьба и у Янушкевича. Шляхтич по рождению, он покинул родной Несвиж и по окончании Винницкой гимназии стал заниматься филологией в Виленском университете. Познакомился с Адамом Мицкевичем, принял участие в революционно настроенной студенческой организации... Аресты, начавшиеся в городе, его не коснулись: тогда он уже работал в Каменец-Подольском уездном суде.

В 1829 году за границей, будучи на лечении, он снова встретился с Мицкевичем, с трудом вырвавшимся из России. Тот предложил отправиться в совместное путешествие. Италия, Швейцария... На родину Янушкевич вернулся к началу польского восстания, вступил добровольцем в один из боевых отрядов. Далее бои, тяжелая рана, плен и суд... Братья его, принявшие в восстании активное участие, бежали от преследования русских властей во Францию. Как член Комитета польских легионов, Адольф был приговорен судом к смертной казни через повешение, однако после конфирмации его сослали в Сибирь на неопределенный срок. Жил он в разных местах, теперь вот в Ишиме...

Одоевский с участием слушал гостя.

— Моя судьба сходна с вашей, — тихо сказал он. — Хоть есть и разница в наших целях, замыслах... Кстати! — тут же перевел он разговор в другое русло. — Как ваша поездка с Мицкевичем по Европе?

— Волнуется Европа. Силен в ней революционный дух. Но вспоминаю сейчас иное: Южная Франция, Авиньон, где посетил я могилу Лауры, возлюбленной Петрарки... Храню и поныне ветвь с той могилы.

Янушкевич вытащил из нагрудного кармана платок и развернул его.

— Греет сердце, как память о том времени. Хотите, подарю вам, Александр?..

— Но!.. — хотел возразить ошеломленный Одоевский. — Могу ли я принять сей бесценный подарок?

— О вас я много слышал от курганских товарищей. Сейчас сижу перед вами и радуюсь, что не ошибся. Мы делали, друг мой, одно дело: боролись против тирании, деспотизма и самодержавия, боролись за свободу... К тому же вы поэт, а к ним у меня особое отношение.

В ту же ночь Одоевский написал стихотворение, посвященное своему новому другу, «который подарил автору ветку с могилы Лауры в Авиньоне».

Так началась их дружба... Ровесник Одоевского, Янушкевич был образован, в разговорах на литературные темы деликатен, на политические — прямолинеен и решителен.

Однажды он попросил Одоевского подыскать ему подходящую квартиру, со старой пришлось съехать.

— Живи у меня! — предложил Александр. — Места хватит.

Он тут же вспомнил дом Булатова на Исаакиевской площади, светлые просторные комнаты и вздохнул: кто только не жил у него тогда!

С этого времени дом Филиппа Лузина на Ярмарочной улице стал оживленным местом. Поначалу робко, потом смелее стали приходить сюда молодые чиновники и купцы: послушать новые стихи, рассказы о дальних странах...

Иван Сергеевич аккуратно слал Александру деньги и письма, переводу сына в Ишим он был очень рад. Старый князь снова писал, как велико его желание встретиться с любимым чадом в Ишиме.

Письма его стали известны генерал-губернатору Западной Сибири Горчакову. Он вскоре запросил Петербург: «возможно ли допускать свидания родственников с поселенцами из государственных преступников».

Статс-секретарь Мордвинов, за отсутствием Бенкендорфа, уведомил князя, что «относительно допуска сви-

даний поселенных в Сибири государственных преступников с их родственниками не имеется в виду положительных правил, но что на поступавшие неоднократно всеподданнейшие просьбы по поводу свидания высочайшего соизволения не последовало... Что же касается до поездки кн. Одоевского в Сибирь для свидания с сыном, то он предполагает, что князь не предпримет путешествия в Сибирь, не испросив на то, предварительно, высочайшего соизволения...».

Горчакова такой ответ не удовлетворил. На его вторичный запрос 25 ноября 1836 года граф Бенкендорф уведомил генерал-губернатора, что родственникам не дозволяются свидания с находящимися в Сибири «государственными преступниками» и что «буде кто-либо из родственников означенных преступников отправится в тот край, не испросив предварительно на сие дозволения, то местное начальство обязано немедленно его выслать...».

Русский самодержец внимательно следил за своими «друзьями 14-го», изолируя их как от общества, так и от самых близких родных.

Александр исходил с новым другом весь город, любовался вечерними зорями за рекой, голубыми плесами и бескрайними просторами, необъятной сибирской землей, на которой жили они, увы, не по своей воле... Он перечитывал письма Якушкина и Кюхельбекера, расспрашивал поляка о своих друзьях, с которыми тот подружился в Кургане. Однажды он остановил Янушкевича на крутом берегу осенней реки и прочел:

Ты знаешь их, кого я так любил,
С кем черную годину я делил...
Ты знаешь их! Как я, ты жал им руку
И передал мне дружний разговор,
Душе моей знакомый с давних пор,
И я опять внимал родному звуку,
Казалось, был на родине моей,
Опять в кругу соузников-друзей...

9 ноября 1836 года Тобольская казенная палата отвела Одоевскому, как, впрочем, и другим поселенцам, для ведения сельского хозяйства пятнадцать десятин из пустопорожних земель Жиляковской волости.

Заниматься землей Александр не стал. Он полон был одним желанием — вырваться из сибирской неволи. Но как?.. Ему тридцать четыре года. Не многовато ли? Впрочем, Пушкину пошел тридцать восьмой.

А вскоре... Смерть национальнего поэта поразила Россию. Дошла эта весть и до «сибирских каторжных нор». Дошла и горько отозвалась в сердцах невольных поселенцев.

17

В мае 1837 года Одоевский послал из Сибири начальнику III отделения А. Х. Бенкендорфу письмо:

«Сиятельнейший граф!

Я осмеливаюсь обратиться к высокому предстательству вашего сиятельства.

Всемилостивейший государь даровал мне десятилетие — не тяжких, заслуженных мною наказаний, — но здравых размышлений, закаливших меня в беспредельной преданности его императорскому величеству.

Теперь, после стольких лет одинокой, мысленной жизни, могу ли я сам постигнуть безумие, минутно навеянное на мою тогда неопытную и слишком юную душу? Нет, я желал бы омыть всею моею кровью пятно преступления, лежащее на моем имени. Умоляю вас, сиятельнейший граф, испросить высочайшую милость, — испросить мне место в рядах Кавказского Корпуса, и вместе с тем повергнуть к августейшим стопам нашего великого царя — сердце, проникнутое не мгновенным, но долголетним раскаянием, чистое от всех заблуждений и созревшее в неизменных чувствах любви и благодарности к священной особе обожаемого мною монарха. Еще раз убедительнейше умоляю вас, сиятельнейший граф! Государь, после стольких милостей и при вашем за меня великодушном предстательстве, не откажет мне в счастии положить жизнь за него под сенью его победоносных знамен.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть Вашего сиятельства, милостивейшего

государя покорнейшим слугою

Александр Одоевский».

Письмо это он послал не сразу.

Но решение было принято. Исписанный лист бумаги, сложенный вчетверо и запечатанный в конверте, пустился в почтовые странствия.

Отблистал холодным солнцем месяц май, под окном остановился пахший свежими травами июнь... Александр

ждал ответа, в мыслях своих он был уже на Кавказе. Казалось ему, там судьба его круто изменится. Восемь лет уже воюет на Кавказе Бестужев. Выбился в офицеры... До свободы рукой подать: может уйти в отставку.

Знал бы Одоевский, чему завидовал тогда, в этот погожий летний день!..

7 июня 1837 года.

Эскадра подходила к мысу Адлер. Бой уже начался. Горцы рубились на берегу отчаянно.

Бестужев был болен, бессонная перед десантом ночь и гнетущие мысли ухудшили его и без того тяжелое состояние. «Так ли прошла его жизнь? Безумная юность! Сибирь!.. Солдатская лямка... Бесчисленные нравственные и физические страдания... Не винтовкой, а пером бы послужить своему отечеству!»

Вот и берег! Выстрелы не смолкают. Охотники уходят в лес.

— Прапорщик Бестужев!..

Он ли это? В российской словесности он — Марлинский. Петербург его боготворит, дамы от его повестей сходят с ума, издатели рвут на части.

А выстрелы все дальше!

— Верните охотников, Бестужев!

Живы ли они? Приказ нелеп, но это приказ. Лес, горцы с обнаженными саблями, раненые соратники...

— Назад! Велено отступать! При...

И захлебнулось слово в горле, утонуло в крови.

Остановилось сердце. Лишь гаснет небо в запрокинутых глазах... Лишь облачко, которое толкает верхний ветер...

Беги, лети на ветерке,
Подобно нашей доле, —
И я погибну вдалеке
От родины и воли?..

Погиб, как и предсказывал, вдали от родных мест, от друзей и близких, ушел из мира, не прожив и сорока лет...

«Рядовым в Кавказск. корпус», — 20 июня 1837 года написал император на прошении Одоевского.

— Быть посему!..

Простившись с Янушкевичем, Одоевский направился в Тобольск. В городе его ждали старые друзья по Сибири: Лорер, Назимов, Нарышкин, Лихарев... Фохт «по причине расстроенного здоровья, согласно высочайшей воле» был «оставлен в г. Кургане на прежнем основании».

По-разному отнеслись они к перемене своей судьбы. Немолодой уже Лорер направлялся на Кавказ с неохотой. Лихарев радовался предстоящему отъезду. Нарышкин молчал.

Одоевский был нетерпелив: в Казани его ожидала наконец встреча с отцом.

Дни в Тобольске тянулись нестерпимо долго. Одоевский рвался в Казань.

Наступил август...

— Александр Иванович! — как-то сказал Одоевскому один армейский офицер, с которым он познакомился в Тобольске. — Завтра я отправляюсь на Кавказ, еду через Казань, где, наверное, встречу вашего отца. Не хотите написать ему что-либо?

Тут же на коротком листе, вырванном из альбома, Александр набросал несколько слов:

«Тобольск

23 августа 1837 г.

Мой обожаемый отец! Я думаю, что это письмо найдет Вас в Казани, пока я ожидаю компаньонов по путешествию, с которыми можно будет ехать. Как я восхищен господином майором, который выразил добрую волю передать это письмо и передать Вам живой голос всех чувств, переполняющих мое сердце, столь нетерпеливо жаждущее увидеть Вас. Подождите меня еще несколько дней. Я умоляю Вас отблагодарить майора за тот сердечный интерес, который он выказал ко мне: я был сильно тронут всем этим. Это очень лояльный военный, исполненный возвышенных чувств. Я целую Ваши руки миллион раз.

Ваш покорный сын

Александр Одоевский».

Скоро в Тобольске к ним присоединился и барон Черкасов.

«С приездом Одоевского и Черкасова мы составили полный комплект новых солдатов и отправились вшестером (Назимов, Лихарев, Нарышкин, Лорер, Одоевский и Черкасов; Фохт остался по болезни, Розен, видимо, за-

держался. — *В. Я.*), — вспоминал Н. И. Лорер, — в новый, неизвестный нам край из 40 градусов мороза — в 40 градусов жары... Мы ехали очень шибко, вскоре миновали Тюмень, переправились через Волгу и, приехав в Казань, остановились в гостинице, которая показалась ли только нам или в самом деле была столь хороша, что могла соперничать с такими домами и в самом Петербурге. В Казани многим из нас готовилось много сердечной радости. Так, к Нарышкину родная сестра его, княгиня Голицына, нарочно прискакала из Москвы. Радости, восторгов, умиления этих добрых родных не было конца...

70-летний князь Одоевский также приехал двумя днями ранее нас, чтобы обнять на пути своего сына, и остановился у генерал-губернатора Стрекалова, своего давнишнего знакомого. В день нашего въезда в Казань, узнав, что его любимое детище, Александр Одоевский, уже в городе, старик хотел бежать к сыну, но его не допустили, а послали за юношей. Сгорая весьма понятным нетерпением, дряхлый князь не вытерпел и при входе своего сына все-таки побежал к нему навстречу на лестницу; но тут силы ему изменили, и он, обнимая сына, упал, увлекая и его с собою. Старика подняли, привели в чувство, и оба счастливца плакали и смеялись от избытка чувств.

После первых восторгов князь-отец заметил сыну: «Да ты брат, Саша, как будто не с каторги, у тебя розы на щеках». И действительно, Александр Одоевский в 35 был красивейшим мужчиною, каких я когда-нибудь знал.

Стрекалов оставил обоих у себя обедать, а вечером мы все вместе провели очень весело время. На другой день мы обедали у княгини Голицыной...»

Все это время Александр был неразлучен с отцом.

Они вспоминали Николаевское, Петербург, своих родных и знакомых. Возможно, здесь Иван Сергеевич признался сыну, что был не совсем прав, осуждая его за смелый образ мыслей...

— Рассудком понимаю всю преступность ваших замыслов, — грустно говорил он, покачивая поседевшей головой, — а сердце говорит иное. Ведь не случайно твои сибирские друзья — большей частью люди, как я вижу, исключительно порядочные и высоконравственные.

— Ты прав, отец! Я несказанно рад, что ты понял и простил меня!..

Они сидели на пологом берегу Казанки и смотрели на мутную мелкую воду.

— Жаль лишь одного, — продолжал Александр. — Слишком часто мне и моим друзьям приходилось идти на попятный. Поймут ли нас правильно?

— Не надо, друг мой! Главное, мы сейчас вместе. А там, даст бог, доживу и до возвращения твоего с Кавказа в орденах и офицерском мундире.

Александр улыбнулся.

— Не поддавайся, сын, унынию, ибо оно, как ржа, съест и сердце и душу!..

— Постараюсь, отец!

Наступил день отъезда. Просьба старого князя о разрешении его сыну проехать от Казани до Кавказа не этапным порядком, а на почтовых «по примеру проследовавшего из Сибири в 1829 году Бестужева, с жандармом на его, Одоевского, счет» была удовлетворена.

Они покинули Казань двадцать восьмого августа. Елизавету Нарышкину княгиня Голицына увезла в Москву для свидания с родными и друзьями. Старый князь Одоевский провожал сына до станции, где дорога разделялась на две: одна шла на Москву, другая — на Кавказ. При перемене лошадей, собираясь через минуту проститься с Александром, он печально сидел на крыльце почтового дома, опустив седую голову.

— Дружище! — наконец спросил он проходившего мимо ямщика. — Далеко ль отсюда поворот на Кавказ?

— Так не с этой станции, ваше сиятельство, а с будущей! — удивленно ответил тот.

Иван Сергеевич чуть не подпрыгнул от нежданной радости. Как же, еще двадцать три версты глядеть на сына, обнимать его! Он тут же сунул ошеломленному ямщику двадцать пять рублей.

Однако расставание все равно пришло, и надо было разъезжаться.

Теперь уж на всю жизнь...





ГЛАВА ПЯТАЯ

> Утешьтесь! За павших ваш меч отомстит.
> И где б ни потухнул наш пламенник жизни,
> Пусть доблестный дух до могилы кипит,
> Как чаша заздравная в память отчизны.
>
> А. И. Одоевский

1

Мелькали по сторонам почтовые станции и дорожные столбы...

По дороге в Ставрополь ссыльные узнали о проезде государя в Тифлис. Поэтому им на предпоследней к Новочеркасску станции не дали лошадей, а предложили волов. Тарантасы снова двинулись в путь. С восходом солнца путники въехали в казацкую станицу. В Новочеркасске они отдохнули, ходили на могилу героя Отечественной войны 1812 года атамана Платова у алтаря церкви, им же воздвигнутой.

И снова в путь!..

> Как сладок первый день среди полей отчизны,
> На берегах излучистой Усьмы!
> Опять блеснул нам луч давно минувшей жизни
> И вывел нас из долгой скорбной тьмы...
> Мы ожили!..

За поворотом блеснула неширокая река.

— Усьма! — негромко сказал Назимов.

Через минуту он зябко повел плечами и закутался в шинель. Его лихорадило.

— Ты посмотри, Александр, красота какая!

Берег реки порос густым низкорослым лесом. На пенистых перекатах плясали отблески облачного неба.

— Вот и мельница, Мишель, — возбужденно воскликнул Одоевский, показывая на видневшееся вдали неуклюжее деревянное строение.

— Церкви православной не хватает, — послышался голос дремавшего Нарышкина.

— Да вон она, за холмом!..

И может ли что быть милее и привольней
Обзора мирного приятных этих мест,
Где издали блестит на белой колокольне,
Манит, как жизни цель, отрадный спасов крест?..

— Записывай свои экспромты, друг мой, — заметил Назимов.

Одоевский беспечно махнул рукой.

— Минута вдохновения важней слова печатного, — сказал он. — Стих прозвучал и растворился в этом мире, оставшись в долгой памяти лугов, сияющего неба и речной воды... Отзвук его услышу я когда-нибудь.

— Мудришь все, — вздохнул Нарышкин. — А парома что-то и не видно.

Одоевский промолчал.

Лежавший у подножия горы Ставрополь возник на той стороне сразу: блеснул золотыми куполами церквей, зачернел домами и остроконечной сторожевой башней.

— Колокола! — услышав слабый мелодичный перезвон, тихо произнес Нарышкин и снял фуражку.

Казак замер на месте и перекрестился. Он сопровождал ссыльных из самого Тобольска.

«Курлы-курлы!..» — раздался в наступившей тишине печальный и протяжный крик.

В высоком прозрачном небе вытянулся к югу журавлиный клин.

— Приветствуй их, Александр, — сказал Назимов. — Туда же летят, в «теплую Сибирь».

Журавли уходили все дальше и дальше.

Одоевский смотрел им вслед...

Куда несетесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес.
И мы — на Юг!..

Ставрополь приближался. Журавли растворились в небе. Легкий туман над городом рассеялся, в далеком мареве засветились под холодным солнцем белые вершины гор.

Лоб Одоевского пересекла глубокая поперечная морщина.

Но солнце там души не отогреет
И свежий мирт чела не обовьет...

2

10 октября командующему войсками Кавказской линии, генерал-лейтенанту А. А. Вельяминову пошло из Ставрополя донесение:

«...Из числа трех государственных преступников, следовавших из Сибири в г. Тифлис в сопровождении казака Тобольского русского городового казачьего полка Тверетинова, Нарышкин и Назимов ...сданы в штаб войск Кавказской линии и немедленно отправлены будут по назначению: Нарышкин — в 5-й батальон Навагинского пехотного полка, а Назимов — в Кабардинский егерский полк; Одоевский же в сопровождении Тверетинова вместе с сим отправился в дальнейший путь...»

Однако, несмотря на то, что Нарышкин и Назимов были «сданы исправно» в штаб войск Кавказской линии и Черноморья 10 октября и сопровождавшему их казаку выдали на то соответствующую квитанцию, из «сопроводительной» к их личным делам на имя капитана Сердаковского ясно, что они «прибыли 8 числа сего месяца в Ставрополь и находятся в ведении штаба сего на квартире в доме Постникова под наблюдением урядника Моздокского казачьего полка Кулешова».

Одоевский, ехавший с Назимовым в одном экипаже, в город прибыл тоже восьмого числа.

Где же ссыльный встретился с опальным поэтом Михаилом Лермонтовым? В Ставрополе? Или в горах Кавказа?..

Скорее всего в городе...

После лечения в Минеральных Водах Лермонтов ехал в Тамань, в действующий отряд. Но осенняя экспедиция была отменена, в конце октября войска встали на зимние квартиры...

29 сентября 1837 года начальник «походного дежурства штаба войск Кавказской линии и в Черномории» отдал распоряжение прапорщику Лермонтову, прибывшему в Ольгинское укрепление (близ Геленджика): «...Я предписываю вам отправиться в свой полк; на проезд же вам от укрепления Ольгинского до г. Тифлиса препровождаю при сем подорожную № 21-й, а прогонные деньги извольте требовать по команде с прибытием вашим в полк...»

Дорога в Тифлис проходила через Ставрополь. Состояние кавказских дорог в осенний период было особенно скверным. Приехать в город поэт мог лишь в первых числах октября (3—5-го). Проживавший в Ставрополе генерал-майор П. И. Петров, у которого он по-родственному, видимо, остановился, вряд ли выпустил бы Лермонтова, не дав погостить ему хоть несколько дней. Тем более что возможностей задержать у себя поэта было у него, как у начальника штаба войск Кавказской линии, предостаточно...

Не здесь ли началась дружба двух поэтов, окрепшая в совместных странствованиях «в горах Востока»?.. И не имел ли Лермонтов отношения к назначению Одоевского именно в Нижегородский драгунский полк, в котором, несмотря на «высочайший» приказ о переводе в Новгород, продолжал еще сам числиться? Генерал-майор П. И. Петров — его близкий родственник, начальник штаба корпуса, генерал-лейтенант А. А. Вельяминов дружил и воевал в Отечественную войну с дедом поэта А. А. Столыпиным... К тому же Одоевский был близким другом и родственником А. С. Грибоедова, которого Вельяминов очень ценил.

Судя по «Журналу секретных и исходящих бумаг» штаба войск Кавказской линии и Черноморья, накануне приезда Николая I в Ставрополь ссыльные были спешно выдворены из города...

10 октября Михаил Нарышкин сообщил своим родным:

«Пишу вам из Ставрополя, куда мы кой-как дотащились по весьма грязной и затруднительной дороге. Здесь расстаюсь я с добрыми моими спутниками и каждый из нас получает особенное назначение. Мы назначены в полки, которые расположены по сю сторону Кавказа и потому уже не поедем в Тифлис, на который нам очень хотелось взглянуть хотя мимоходом и познакомиться с

совершенно новою для нас страною... место моего пребывания кажется теперь будет в Прочном окопе, в 60-ти верстах отсюда».

«Взглянуть на Тифлис» представилась возможность лишь одному Одоевскому, чей полк располагался в местечке Караагач. В сопровождении казака Тверетинова он в тот же день (судя по донесению) отправился к месту своего назначения...

16 октября урядник Петр Горшков привез в Ставрополь еще трех ссыльных: Лорера, Лихарева и Черкасова. Получив квитанцию о «сдаче государственных преступников» в штаб войск, он тут же передал измученных дорогой путников уряднику Конову, которому было приказано: «Предписываю тебе, по получении сего, отправиться из Ставрополя в г. Екатеринодар с государственными преступниками Лорером, Черкасовым и Назимовым, определенными, согласно высочайшей воле, рядовыми; первые два в Тенгинский, а последний — в Кабардинский егерский полки, и. по прибытии туда, явиться в дежурство 20-й пехотной дивизии, где и сдать вместе с конвертами... под квитанцию...»

В тот же день под охраной рядового Чупика отправили в крепость Темнолесскую и Нарышкина с предписанием командиру 5-го батальона Навагинского полка Миронову «зачислить рядового сего (Нарышкина) в роту, расположенную в Прочном окопе, дабы доставить ему более случая в деле против горцев загладить свое преступление».

К 17 октября, ко дню приезда в Ставрополь императора Николая I, в городе оставался один лишь Лихарев. Власти боялись его нечаянной встречи с государем на дороге в Пятигорск. Лихарев выехал в штаб Куринского егерского полка, в крепость Грозную, 19 октября, после отъезда государя из Ставрополя в Новочеркасск. Сопровождал ссыльного урядник Кулешов, получивший также строгое предписание.

В переписке, обнаруженной в «Журнале секретных исходящих бумаг» штаба войск Кавказской линии и Черноморья, есть, однако, много неясностей... Насчет Одоевского, единственного посланного в кавалерийский (Нижегородский драгунский) полк, стоящий под Тифлисом, строгого предписания казаку Тверетинову дано не было. И потому он мог разрешить Лермонтову, ехавшему в тот же полк, присоединиться к ним. Встреча двух поэтов мог-

ла, конечно, состояться и по дороге в Тифлис, на которую уходило обычно 8—12 дней.

Где же плутал Одоевский четыре недели? В Нижегородском полку на Лезгинской кордонной линии он числился налицо лишь с 7 ноября. Искал по кавказским дорогам часто меняющие месторасположение батальоны полка? Или же?.. Есть некоторые основания предполагать, что даты отъездов сибирских ссыльных из Ставрополя не вполне соответствуют действительности. Возможно, в день приезда императора они еще находились в городе и наблюдали из окна гостиницы царский поезд, как о том позже вспоминал Н. М. Сатин...

К тому же Лермонтов уехал из Ставрополя, получив от генерала Петрова дорожное свидетельство лишь 22 октября.

Так или иначе, встреча, перешедшая в дружбу, состоялась. Была дорога, стихи, слова... Была предельная откровенность.

Иначе Лермонтов не написал бы:

Я знал его — мы странствовали с ним
В горах Востока, и тоску изгнанья
Делили дружно...

В Ставрополе Одоевский встретился со своими сибирскими соузниками Кривцовым и Голицыным.

Бывший подпоручик лейб-гвардии конной артиллерии Сергей Иванович Кривцов тоже прошел сибирскую каторгу, жил на поселении в Туруханске и Минусинске. За шесть лет кавказской службы рядовым в 20-й артиллерийской бригаде он снискал себе любовь и уважение сослуживцев. Участвуя в бою месяц назад, он, по словам современника, проявил мужество, «производя меткие выстрелы картечью из одного легкого орудия»... Высокого роста, черноволосый, плечистый, «умный в разговорах, приятный и обществе и храбрый в деле». Он был знаком с Лермонтовым, к Одоевскому относился с большой нежностью.

Хорошо знал Лермонтова еще по Пятигорску и другой сибирский товарищ Александра князь Валерьян Михайлович Голицын. В прошлом отставной поручик лейб-гвардии Преображенского полка и камер-юнкер, служивший в департаменте внешней торговли, он отбывал ссылку в Киренске, на Кавказ был переведен в один год с Алек-

сандром Бестужевым, и уже несколько лет числился в Кабардинском егерском полку. В мае этого года его произвели в прапорщики. Н. М. Сатин, высланный из Москвы по делу Герцена и Огарева, знавший Голицына по Ставрополю, характеризует его как «замечательно умного человека, воспитанника иезуитов, усвоившего их сосредоточенность и изворотливость ума. Споры с ним были самые интересные: мы горячились, а он, хладнокровно улыбаясь, смело и умно защищал свои софизмы и большею частию, не убеждая других, оставался победителем...»,

— Вот я и снова офицер, Александр! — с удовлетворением говорил он.

Было видно, что тонкий сюртук ему более по душе, нежели грубая солдатская шинель.

Кривцов познакомил Одоевского с доктором Н. В. Майером. Воспитанный отцом в крайне передовых убеждениях (как ученый секретарь академии тот получал из-за границы множество бесцензурных книг и журналов), Майер учился в Медико-хирургической академии. Окончив ее, служил в южной России у генерала Инзова, а оттуда был переведен в Ставрополь в распоряжение Вельяминова. Летом доктор жил на Минеральных Водах, а зимой приезжал в Ставрополь.

Необычайный ум, начитанность, знание нескольких языков постоянно привлекали в его дом самых разнообразных людей. Особенно ссыльных и потерпевших от правительства, которых на Кавказе в то время было немало,

— Рекомендую вам, князь, «Историю французской революции» Минье! Прелюбопытная, скажу вам, книга! — сказал он Одоевскому.

Голицын, слыша доктора, улыбался.

— Саша! — восклицал он. — Тебе он не советовал прочесть еще «Историю английской революции или контрреволюции»? Смотри! На очереди демократия в Америке!..

— Экий вы, князь! — разочарованно тянул Майер и отходил в сторону.

Он, как и многие участники их собраний, старался не вступать с Голицыным в дискуссии, считая занятие сие бесполезным.

Не хотелось Одоевскому и его друзьям уезжать из Ставрополя.

Но пришлось... Прощание, по словам Лорера, вышло очень печальным.

«Вечером нас потребовали в штаб для объявления, кто из нас в какой полк назначен... В эту же ночь должны мы были отправиться по полкам. Нам дали прогоны каждому на руки. В первый еще раз, с выезда из Сибири, мы отправились без провожатых. Была туманная черная ночь, когда несколько троек разъехались в разные стороны. Что ожидает нас в будущем? Черкесская ли пуля сразит, злая ли кавказская лихорадка уложит в мать-сырую землю?..»

3

«Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные...»

(М. Ю. Лермонтов — С. А. Раевскому)

Быть может, все происходило и не так. Однако...

...Рассвет просыпался в горах долго и неохотно.

Лошади шли медленно, пугливо косили глазами в сторону затянутого туманом ущелья.

— Укутайтесь, ваше благородие! Уж на что я привычный, а и то дрожно. — Казак зябко повел широкими плечами и натянул поводья.

— Ничего, Тверетинов! Скоро жарко будет. — Одоевский повернулся к задремавшему было спутнику: — А что скажет Мишель?

Лермонтов лениво приоткрыл глаза.

— Меня другое волнует, Александр! — произнес он. — Думаю о прихотях судьбы, что сводит и разлучает людей. Мог ли полагать о встрече с тобой? Благо казак понятливый попался...

Тверетинов бросил на говорившего иронический взгляд.

— В приказе не сказано о строжайшем присмотре за его благородием! — заметил он.

— Я к тому же и веду, дружище! — улыбнулся Лермонтов.

Дорога круто свернула вправо.

Над горами неторопливо поднималось солнце.

Пригревшись, казак задремал...

— А я ведь много слышал о Грибоедове и Рылееве в семье Столыпиных, — продолжая прерванный разговор, сказал Лермонтов. — Они дружили с отцом Монго́, покойным Аркадием Алексеевичем. Вдова его рассказывала мне об участниках 14 декабря...

Одоевский молчал. Этот совсем еще юный прапорщик с первых часов их знакомства поразил его нетерпеливой мощью поэтического духа. Рукописную пиесу Лермонтова, посвященную смерти Пушкина, знали многие сибирские изгнанники.

— Расскажи мне о Петербурге, Мишель, — попросил он. — Каков он сейчас? Уж более десяти лет там не был, да и не придется, видно.

— И я уж скоро год, как покинул северную столицу. Но что там может измениться? Вахтпарады, балы, прогулки на острова... Свет слишком консервативен в своих увлечениях. Скажи лучше, Александр, что пишешь сейчас?

Одоевский неопределенно повел плечами.

— Пустяки!.. Не записываю я своих гениальных творений. — И громко засмеялся.

Тверетинов вздрогнул, открыл глаза и, озираясь, растерянно захлопал пушистыми рыжими ресницами.

— Спи, спи, братец! — успокоил его Одоевский.

— Читал я твои стихи, напечатанные в «Литературной газете» и «Северных цветах», — все так же серьезно продолжал Лермонтов.

— Они же без подписи!

— Граф Комаровский по секрету выдал мне имя автора.

— Егорушка?

— Да, Егор Евграфович! Знавал я и другого вашего сослуживца по конногвардейскому полку, Ивана Дмитриевича Лужина. Много интересного слышал от них.

— Егор женился недавно на сестре поэта Дмитрия Веневитинова, умершего лет десять назад. Барствует сейчас в своем орловском имении... — задумчиво пробормотал Одоевский.

— Смотрите, ваше благородие! — внезапно воскликнул казак.

Возле тропы на диком валуне, нахохлившись, сидел горный орел. Зло покосившись на потревоживших его покой путников, он нехотя взмахнул крылами, поднялся над ущельем и застыл в высоком голубом небе.

— Унылый страж Кавказа! — сказал Одоевский.

— Алчущий крови... — усмехнулся Лермонтов.

— Царственная птица, — уважительно заметил Тверетинов и снова погрузился в свои дремотные думы.

В Екатериноградской они задержались.

Пришлось ждать оказии, а она случалась в этих местах не так часто. Да и паромная переправа через Малку чуть ли не ежемесячно починялась.

Ночевали на постоялом дворе. Напившись горячего чая, Тверетинов быстро заснул. Во сне морщинистое задубевшее лицо его разгладилось и осветилось слабой улыбкой: видно, улетел в мечтах тобольский казак в родные сибирские края, дышал вольным морозным воздухом, обнимал за крепко сбитые плечи жену, гладил по головам мальчат...

Путники же долго не спали...

Разрушилась преграда условности, несколько отчуждавшая их в дороге, протянулась от сердца к сердцу нить доверия. И Лермонтов за много месяцев впервые раскрыл свою душу пред человеком, чью жизнь и помыслы неизмеримо уважал.

А Александр стал самим собой пред этим мудрым поэтом, так много обещавшим в будущем. Ежли дарует ему судьба еще несколько лет...

Ночь показалась короткой, и хоть впереди немало дней, проведенных вместе, эта ночь — первая — у переправы запомнилась обоим надолго.

Они говорили об отечественной истории, о борьбе древнего Новгорода за независимость...

— Когда я думаю об этом, я вспоминаю вас, вышедших в то раннее декабрьское утро на Сенатскую площадь. Лет шесть назад я написал поэму «Последний сын вольности»...

Но есть поныне горсть людей
В дичи лесов, в дичи степей;
Они, увидев падший гром,
Не перестали помышлять

В изгнанье дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять;
Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны...

— Мало их осталось, надежд, Мишель!

— Но и без них нельзя!

— Когда мы подъезжали к Ставрополю, то увидели высоко в небе стаю журавлей. Тогда я посвятил стихотворение этим птицам, летящим, как и мы, с севера на юг, — сказал Одоевский. — Теперь же мне хочется дописать к нему еще несколько строк,

Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Не тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не Севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарят последним новосельем,
Но кровью жаркою обрызганный чакал
Гостей бездомный прах разбросит по ущельям.

Глубоко запали в душу Лермонтову эти последние строки.

В скором времени, покидая Кавказ, поэт напишет в прощальном стихотворении:

...О если так! своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

Их волновали и отношения России с народами Кавказа.

За окном рассветало.

Тверетинов уже возился во дворе с лошадьми.

К переправе подошел сопровождаемый ротой солдат обоз.

Дорога на Тифлис была свободна.

— С богом, друзья!..

7 ноября 1837 года рядовой Александр Одоевский был зачислен налицо в 44-й Нижегородский драгунский полк.

Получив в штабе расписку, Тверетинов простился со своими спутниками и не мешкая отправился в обратную дорогу.

Тобольский казак спешил в родные края.

В тот же день Одоевский был представлен командиру полка полковнику Безобразову.

— Обживайтесь, князь! — непривычным для ссыльного Одоевского тоном сказал он. — Прапорщик Лермонтов, надеюсь, вам все покажет, познакомит с офицерами, здешним обществом... Ведите себя без всякого принуждения. Разжалованных в моем полку немало — и все они истинно порядочные люди. В России нынче не страдают только дураки и лизоблюды!..

Словами полковника Одоевский был поражен.

— Не любит он государя, — пояснил Лермонтов. —

История Сергея Дмитриевича стара и загадочна. Но кое-что все же всплыло наружу. Позже я расскажу тебе о нем. А пока... пойдем ко мне.

Оставшись один, Безобразов долго сидел за столом с опущенной головой, охваченный воспоминаниями.

Варшава... Петербург... Кавказ...

В польской столице корнет лейб-гвардии Подольского кирасирского полка Безобразов пользовался огромным успехом у женщин. Они прозвали его Аполлоном Бельведерским. Красив, остроумен и галантен. После восстания в Польше он благодаря своей храбрости быстро выдвинулся и скоро стал флигель-адъютантом его императорского величества. В Петербурге избалованный офицер влюбился во фрейлину императрицы, княжну Хилкову.

Любовь Хилкова ответила ему взаимностью. Император согласился быть на свадьбе посаженым отцом. И вот венчание в придворной церкви. Приглашенные, музыка, шампанское... О дальнейшем вспоминать не хотелось! Найдя свою молодую жену в государевой спальне, он дал его величеству пощечину...

Неслыханный скандал потряс столицу.

И через три недели Безобразов был отправлен на Кавказ, жена его уехала в Москву.

На Кавказе Безобразов вскоре прославился необыкновенным мужеством в боях. В белой папахе, на белом коне, он ходил в атаки впереди своих линейных казаков. Звали его «казацким Мюратом». Два трудных года на Кавказе, ранение в ногу, орден св. Анны на шее, чин полковника и Нижегородский драгунский полк. Флигель-адъютантские аксельбанты снял он с большим облегчением.

И вот недавно в Тифлисе, на Дидубийском плацу, состоялся высочайший смотр полкам, бывшим в летней экспедиции против горцев. От нижегородцев участвовали в параде четыре эскадрона. Царь ими остался доволен. Но лично командира полка не благодарил. Проехал мимо...

И слава богу!

До глубокой ночи просидел полковник за столом, не в силах справиться с воспоминаниями. А «государственный преступник» Александр Одоевский знакомился тем временем с расположением полка, в котором предстояло ему служить.

— Колюбакин! — представился ему молодой худоща-

вый прапорщик и через минуту добавил: — Слышал о вас неоднократно.

— От кого же? — поинтересовался Одоевский.

— От Александра Александровича.

— Бестужева?

— Да! Я был хорошо знаком с Марлинским.

Заинтересовавший Одоевского Николай Петрович Колюбакин «бешеной вспыльчивостью характера», не раз доводившей его до дуэлей, был лично известен Николаю I, который прозвал его «немирным Колюбакиным» в отличие от «мирного» брата его Михаила. «Но как бы ни были ужасны вспышки его гнева, ему прощались все его чудачества и выходки за его высокую прямоту, сердечность, русское добродушие и готовность искупить свою вину перед каждым», — отмечал биограф Нижегородского полка В. Потто.

Скоро стал вхож Александр и в дом Нечволодовых, где собиралось все лучшее полковое общество...

Прошлое подполковника Григория Ивановича Нечволодова для многих сослуживцев было окутано тайной. Вкус к военной службе привили ему с детства. Незадолго до смерти легендарный Суворов повесил на шею молодому поручику Нечволодову орден Анны 2-й степени, что само по себе было событием чрезвычайным.

В Петербурге после какой-то непонятной истории он был разжалован и сослан в отдаленные губернии. Тайно покинув Россию, Нечволодов временно осел в Лондоне, где познакомился с русским послом графом С. Р. Воронцовым.

— Вернитесь на родину, сударь, пока не поздно! — сказал ему граф. — Я обращусь к государю с просьбой, в коей он мне, думаю, не откажет.

Александр I дал свое милостивое разрешение.

В Польше поручик Нечволодов встретился с графиней Тышкевич. Влюбившись, она бежала с ним из родительского дома. Во время наполеоновских войн Нечволодов мужественно сражался под начальством атамана Платова. Но скоро снова был разжалован и сослан на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк. Жена его умерла, и Нечволодов жил в своем доме с девочкой-черкешенкой, которую подобрал после одной из схваток с горцами и удочерил.

Шли годы... Генерал Ермолов вернул Нечволодову все орд.на и чин подполковника. Катя, так звали черкешен-

ку, выросла в красивую черноволосую девушку. В доме Нечволодовых собирались офицеры полка, устраивались литературные вечера...

Одоевский с Лермонтовым были здесь, несомненно, частыми и желанными гостями. А в семидесяти километрах от Караагача находилось обширное поместье, побывать в котором Александр мечтал давно.

Искал лишь подходящего момента.

И случай вскоре представился...

4

Чавчавадзе ждал нижегородцев с самого утра.

Пока Саломе готовила завтрак, он прогуливался по длинным узким аллеям сада, лениво оглядывая тонущие в тумане окрестности.

Там, где вьется Алазань,
Веет нега и прохлада...

Знакомые строки вновь разбередили его старую рану. Он слышал их из уст своего зятя Александра Грибоедова.

При мысли о нем снова разболелось сердце.

«Скорее бы уж приезжали, — нетерпеливо подумал он. — Наверное, Мишель приедет... Колюбакин... Жерве и... Одоевский. Неужели не посетит он Цинандали? Нет, конечно же, приедет!» Как никого другого хотелось ему увидеть двоюродного брата Грибоедова князя Александра.

Как странны и причудливы повороты судьбы!

Покойный Грибоедов так любил его, так страдал от невозможности помочь. Вскоре и сам... А что вспомнить ему, князю Александру Гарсевановичу Чавчавадзе, после пятидесяти лет жизни? И какой жизни!..

Крестила его в Петербурге сама Екатерина. Даже поцеловала в пухлую щечку, предрекая большое будущее сыну князя Гарсевана, полномочного министра грузинских царей при русском дворе.

Далее — один из лучших столичных пансионов. Приехал в Грузию тринадцати лет. Позже примкнул к восставшей Мтиулетии, доведенной до крайности правлением Цицианова. Движением руководил царевич Парнаоз. Повстанцы вскоре были арестованы, и восемнадцатилетнего

князя Чавчавадзе сослали на три года в Тамбов. Но из уважения к заслугам отца быстро вернули. Мать его, Майя Георгиевна, сестра известного деятеля грузинской культуры Георгия Авалишвили, умоляла сына бросить политику.

А возможно ли это, коли имеешь честное сердце?

Окончив в столице Пажеский корпус, он служил в лейб-гвардии гусарском полку. А в двадцать пять лет снова приехал в Грузию адъютантом маркиза Паулуччи, тогдашнего кавказского главнокомандующего.

Наук он никогда не избегал: физика и статистика, словесность и математика, языки турецкий, персидский, французский и немецкий сделали его одним из образованнейших людей своего времени.

В наполеоновские войны он был адъютантом у Барклая де Толли, прошел Европу, побывал в Париже. В Нижегородский драгунский полк полковника Чавчавадзе зачислили в феврале 1818 года, когда подрастали уже его дети, а любимой Нино не исполнилось и шести лет. Жизнь не обещала еще беззаботной девочке горя и страданий...

Через три года он стал командиром полка.

«С прибытием в полк (Нижегородский) Чавчавадзе, — писал биограф полка В. Потто, — среди дружелюбного грузинского общества на незатейливых, но радушных пирах его начали появляться и наши нижегородцы... Теперь связующим звеном между ними становится грузин, и в то же время нижегородец, тот самый князь Чавчавадзе, которого почитала вся Грузия, как представителя знатного рода, как одного из своих доблестнейших воинов и, самое главное, как своего великого поэта...» «Естественно, что первые шаги сближения нижегородцев с грузинами и были сделаны в доме того же Чавчавадзе, в знаменитом имении его Цинондалах, находящихся в верстах семи от Телава».

Кто только не побывал в его кахетинском поместье!

Якубович и Розен, Грибоедов и Шишков, испанец Ван-Гален, Лермонтов, брат Пушкина Левушка...

«Объехал Леон всю Грузию, — сообщал отец Пушкина своей дочери, — и провел 15 дней в деревне у вдовы несчастного Грибоедова, да смешно сказать, железное сердце храброго капитана не осталось чуждо поэзии. Леон наш пишет, что считает эти пятнадцать дней самыми счастливыми днями своей жизни. Очарован умом и лю-

безностью жены своего покойного друга и опять туда поедет в ожидании Розена».

Левушка всегда был интересным собеседником. Стихи своего брата знал наизусть.

В русско-персидскую войну князя Чавчавадзе произвели в генерал-майоры и назначили начальником освобожденной от персиян Армянской области. Нового кавказского главнокомандующего Паскевича он не любил. И было за что! При каждом удобном случае тот старался показать свою ненависть к вольному и независимому образу мыслей. Сибирских изгнанников он жестоко третировал. Талантливым военачальникам завидовал...

В деле генерала Раевского-младшего, на которого поступил донос, указывавший на тесные связи его с «государственными преступниками», Паскевич принял самое активное участие.

На его рапорте Николай I написал:

«Г.-м. Раевского за совершенное забытие своего долга, сделав строгий выговор, посадить под арест домашний при часовом на 8 дней и перевести в 5 уланскую дивизию».

Но сдачу Раевским Нижегородского полка Паскевич всячески оттягивал. Быть посредником при сдаче он поручил князю Чавчавадзе. Раевского Александр Гарсеванович уважал и потому, сославшись на болезнь. уклонился от выполнения приказа. Паскевич был разгневан.

«Побуждаюсь заметить, — написал он князю, — что и в прошедшем году, ваше сиятельство, не желая ехать на службу в Армянскую область, подобно сему, рапортовались больным, тем самым неохотно исполняете долг свой. Если же и засим еще продолжать будете подобные сему уклонения, несовместимые с правилами службы, то я найдусь в необходимости представить государю императору об удалении вас как беспорядочного чиновника».

Труда, изнуряющего и благодарного, Чавчавадзе никогда не чурался. Много причин побудило его написать русскому императору «Записку о состоянии Грузии с 1801 по 1831». Человек передовых взглядов, он вскрыл в этой записке недостатки в управлении Кавказом и показал способы их искоренения.

Последние печальные события принесли ему немало страданий. Смерть любимого зятя и друга Грибоедова, болезнь Нино, заговор грузинской аристократии, в котором он не принял участия, считая его заранее обреченным

на неудачу и будучи несогласным с целями заговорщиков... Однако репрессии коснулись и его, находившегося у властей в сильном подозрении.

В январе 1834 года его сослали в Тамбов.

«Генерал-майор князь Чавчавадзе был всем известен и, кажется, играл в сем деле роль, сходную с Михайлою Орловым по делу 14 декабря», — писал Николай I. Вскоре император простил князя, желая показать пример своего «истинно отеческого снисхождения к заблуждающейся части грузинского благородного сословия».

И вот он снова в родной Кахетии.

Нижегородцев он ждал с нетерпением.

— Отец! — услышал он голос дочери.

— Ты рано встала, — заметил он.

На щеках Нино горел лихорадочный румянец.

«Опять плакала. Опять снился Александр. Неужели не пройдет никогда эта боль?»

— Я жду князя Одоевского, — прошептала Нино. — Мне муж столько рассказывал о своем брате!

— Обещали приехать к обеду. Гости съезжаются, все ли готово к встрече?

— Мама с утра суетится. Певцы приглашены, танцоры же всегда найдутся.

Солнце уже поднялось, когда в открытые ворота усадьбы въехал отряд нижегородцев. Вид дома, этого «чуда, не уступающего по своему устройству лучшему европейскому замку», поразил Одоевского. Вокруг дома с многочисленными балконами и галереями разбит был великолепный декоративный сад с подстриженными кустами.

— Господа! Я несказанно рад видеть вас в своем доме! — улыбнувшись, приветствовал гостей Чавчавадзе. — Мишель! Спасибо, что привезли к нам князя Александра!

— Позвольте обнять брата моего мужа, моего брата!..

На глазах Нино показались слезы.

— Спасибо! — растроганно ответил Одоевский и, опустившись на колени, поцеловал Грибоедовой маленькую руку.

Скоро широкий двор заполнился грузинами, съехавшимися из окрестных мест. Стремительный «Лекури» сменялся протяжной песней и звучными стихами великого Шота...

Лермонтов был тих и задумчив. На сердце Одоевского

тоже легла печаль. Здесь ступала когда-то нога незабвенного Александра, слышался его голос...

Потом Лермонтов читал свои стихи.

— Я скоро уезжаю, господа, и потому в минорном настроении, — предупредил он. — Государь подписал приказ о моем переводе в Гродненский гусарский полк. А уезжать не хочется...

Одоевский прочитал «Соловья и розу», позже переведенную Чавчавадзе на грузинский язык.

— А это, Нина Александровна, я посвящаю вам. Самое последнее... — сказал он.

Дева черноглазая! Дева чернобровая!
Грузия — дочь зари и огня!..

Не томит тебя кручина
Прежних, пасмурных годов!
Много было женихов,
Ты избрала — Исполина!

В Цинандали стояла тишина.

Одоевский читал, как всегда, на память. Когда рождались эти строки, он думал о многострадальной Грузии, о России и их союзе. Он думал о браке Нины Чавчавадзе и Александра Грибоедова... Сколько лет прошло после его гибели, а она по-прежнему верна памяти мужа.

Лицо Нино было мокрым от слез.

Лермонтов обнял Одоевского за плечи.

Через несколько дней он уезжал из полка.

Одоевскому Лермонтов оставил его портрет, рисованный им акварелью.

— Придется ли свидеться?..

— Как знать, Мишель! А вдруг!..

Расстались они навечно.

И не услышит сибирский изгнанник посвященных ему проникновенных строк:

Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!..

5

«...С особым наслаждением увиделся в Тифлисе с товарищем моим А. И. Одоевским, после шестилетней разлуки, когда расстался с ним в Петровской тюрьме...

Одоевского застал я в Тифлисе, где он находился временно по болезни. Часто хаживал он на могилу друга своего Грибоедова, воспел его память, воспел Грузию звучными стихами, но все по-прежнему пренебрегал своим дарованием. Всегда беспечный, всегда довольный и веселый, как истый Русский человек, он легко переносил свою участь; быв самым приятным собеседником, заставлял он много смеяться других, и сам хохотал от всего сердца. В том же году я еще два раза съехался с ним в Пятигорске и в Железноводске; просил и умолял его дорожить временем и трудиться по призванию; мое предчувствие говорило мне, что не долго ему жить; я просил совершить труд во славу России...»

Дурные предчувствия не обманули барона Розена.

Жить Одоевскому оставалось до обидного мало.

Но он смеялся...

Звучит вся жизнь, как звонкий смех,
От жара чувств душа не вянет...

Лишь на горе Мтацминда, у храма святого Давида, где под тяжелой плитой лежало истерзанное тело Александра Грибоедова, Одоевский плакал...

— За убиенных боляр Александра, Александра и Александра!..

Грибоедов... Пушкин... Бестужев-Марлинский... Три имени, составившие славу российской словесности.

— За убиенных боляр Александра...

*

Имея в виду вообще 30-е годы прошлого века, вспоминал офицер Кавказского корпуса барон Торнау о тифлисском доме князя Чавчавадзе: «Каждый день с утра собирались к ним родственники и родственницы грузинские, потом начали приходить русские, один за другим, как кто освобождался только от службы!.. К числу лиц, разнообразивших интерес нашего круга, бесспорно принадлежали многие из помилованных декабристов, отбывавших на Кавказе последние годы своего отчуждения от родины. Это были люди, получившие большей частью хорошее воспитание, некоторые с замечательными душевными качествами... Спрашиваю, можно ли было, узнав, не полюбить тихого, сосредоточенного Корниловича, автора Андрея Безымянного, скромного Нарышкина, Коновницына, остроумного Одоевского и сердечной доброты проник-

нутого Валерьяна Голицына. С Александром Бестужевым (Марлинским) я имел случай часто встречаться у брата его Павла...»

Собрания разжалованных по декабрю у барона Розена привлекли к себе внимание властей. Командующий Отдельным Кавказским корпусом генерал Головин сообщал графу Бенкендорфу, что он поручил «начальнику 6-го округа корпуса жандармов генерал-майору Скалону учредить за ними секретное наблюдение, с тем, что если окажется что-либо противное в их действиях, приняв меры, немедленно донести».

Неизвестно, как выполнил поручение командующего бывший штабс-капитан гвардейского генерального штаба, бывший член «Союза благоденствия», Александр Антонович Скалон!.. И выполнил ли вообще! Скорее всего нет! Так как, прибыв в 1838 году по окончании летней экспедиции в Пятигорск, Головин поразился скоплению здесь декабристов, кое-кого из которых, по словам командующего, следовало бы «непременно повесить».

...— Но ты, как дева Франкистана,
Не расточай души своей:
Мне одному отдай всю душу!
Тогда я тихо запою...

Александр Чавчавадзе перевел это стихотворение, навеянное восточными мотивами, на грузинский язык, и долгие годы оно пользовалось в народе большим успехом.

Оно исполнялось на мотив мазурки дочерьми князя.

Не слышал ли и Александр их исполнение?..

Через год бывавший в этом доме Николоз Бараташвили посвятит Кате Чавчавадзе, певшей «Розу и соловья», такие строки:

Когда с такою силой
Однажды Розу спела ты и Соловья,
Своею грацией
Во мне ты пробудила
Поэта, чем навек тебе обязан я...

К стихотворению своему он сделал примечание: «Соловей и роза» — песня, переведенная князем Чавчавадзе с русского».

Наверное, они встречались в этом доме — великий Николоз и Александр Одоевский.

6

Весна 1838 года надолго запомнилась многим посланным на юг «государственным преступникам».

Переведенный из Грузии на Северный Кавказ барон А. Розен вспоминал: «Пятигорск, безлюдный тихий городок зимою, вдруг в половине мая переполнился приезжими и закипел... Военные экспедиции на Кавказе кончаются в июне, тогда прибыли несколько из моих сибирских товарищей: Нарышкин с женою, Одоевский; осенью приехали Назимов и Вегелин, Валериан Голицын, Кривцов и Цебриков; трое последних были уже произведены в офицеры и собирались в отставку. В числе посетителей были замечательные лица, с которыми часто встречался в Пятигорске и в Железноводске».

В городке лечился и отстраненный от должности начальник штаба Кавказского корпуса генерал Вольховский. Он поселился вместе с Розеном. Дом их был средоточием кружка...

«Возле меня, — писал декабрист Розен, — на берегу ручья под деревом, собирался кружок каждый вечер, беседовали далеко за полночь. Умные и сатирические выходки доктора Майера, верно нарисованного в «Герое нашего времени» Лермонтова, поэзия Одоевского и громкий и веселый смех его еще поныне слышатся мне».

Одоевского Николай Огарев увидел в Пятигорске, куда тот приехал лечиться. Встреча с ним запомнилась другу Герцена на всю жизнь...

И тот из них, кого я глубоко любил,
Тот — муж по твердости и нежный как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон кротких сил,
Чей стих мне был, как песнь серебряная, звонок, —
В свои объятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье...

Огарев был потрясен встречей с человеком, одним из лучших в той орлиной стае, осмелившейся восстать против деспотизма.

«Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе... Он носил свою солдатскую шинель с тем же спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, с тою же любовью к товарищам, с той же преданностью своей истине, с тем же

равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил свое страдание... Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. Он никогда не только не почитал, но и не записывал своих многочисленных стихотворений, не полагая в них никакого общего значения. Он сочинял их наизусть и читал наизусть людям близким. В голосе его была такая искренность и звучность, что его можно было заслушаться... Он обычно отклонял всякое записывание своих стихов; я не знаю, насколько списки могут быть верны. Хотел ли он пройти в свете «без шума, но с твердостью», пренебрегая всякой славой?..» Одоевского выделяло среди других самоотвержение и «готовность на мученичество» ради общего дела. Юный Огарев всем сердцем потянулся к нему.

Он послал Одоевскому свои первые поэтические опыты, а часа через два сам пошел к нему. Александр очень сердечно принял юношу, который от внезапного прилива чувств расплакался у него в комнате.

«Они были чисты, эти минуты, — значительно позже вспомнит великий русский демократ, — как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению — поколения, принявшего завет и продолжающего задачу.

С этой минуты мы стали близко друг к другу. Он — как учитель, я — как ученик!..»

Сложился небольшой кружок... Деятельными членами его были также доктор Майер, Николай Сатин, пострадавший по общему с Огаревым и Герценом делу, проживший два года в Симбирской губернии и год назад переведшийся по болезни на Кавказ...

Мария Львовна Рославлева, тогдашняя жена Огарева, скучала на Кавказе, не понимала ни мужа, ни его друзей. Одоевский заинтересовал ее, он был непохож на других и так загадочен. Она жаждала от него поэтического посвящения.

Сдавшись, Александр написал ей несколько строк. До нас они не дошли. Осталось лишь упоминание о них в записке доктора Майера Сатину.

«Г-жа Огарева обещала прислать мне Жослэна; но не сделала этого. Если Вы находите это удобным, передайте ей прилагаемое четверостишие, посвященное ей Одоевским».

Огарев чувствовал пропасть, растущую между ним и женой. От того он мучился и еще более тянулся к Одоев-

скому, в котором видел нравственный пример для подражания.

«В августе мы поехали в Железноводск. Н. (Сатин. — *В. Я.)* и Одоевский переселились туда же. Мейер приезжал как только мог часто... Жизнь шла мирно в кругу, так для меня близком. Я помню в особенности одну ночь. Н., Одоевский и я — мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Одоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся.

— Долго следил я эфирную поступь...

Он кончил, а этот стих и его голос все звучали у меня в ушах. Стих остался в памяти; самый образ Одоевского, с его звучным голосом, в поздней тишине леса, мне теперь кажется тоже каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии кавказской ночи...»

Вскоре, получив известие о тяжелой болезни отца, Огарев уехал. Прощание с Майером и Одоевским было грустным. Они знали, что более не увидятся.

«И все это исчезло, — через много лет с болью скажет Николай Огарев. — ...Мейер умер где-то там же на юге, среди дружного с ним семейства генерала Раевского; он недолго пережил утрату Одоевского, не устоял перед скорбью своего сердца. Исчез и он, тихий мученик за русскую свободу, поэт, миру неведомый; бесследно замер его голос, и только «море Черное шумит, не умолкая...».

7

Еще в 1837 году по приказу Николая I от Анапы до Поти стала сооружаться черноморская береговая линия. Император самонадеянно полагал, что она помешает связям кавказских горцев с иностранными державами, и прежде всего с Турцией и Англией.

Командующий войсками Кавказской линии Вельяминов в своих донесениях рекомендовал возводить в горах станицы, считая их более действенными, «нежели отрезанные друг от друга и сообщающиеся между собой лишь по морю береговые укрепления».

Государь настоял на своем.

Князь Варшавский, И. Ф. Паскевич, поддержал «высочайшее» предложение.

Начальником Черноморской береговой линии назначили генерал-майора Н. Н. Раевского-младшего. Под его руководством стремительно началось строительство укреплений Новотроицкого, Михайловского, Тенгинского, Святого Духа, Новороссийского, Навагинского...

В 1839 году приступили к сооружению еще двух фортов — Лазаревского на реке Псезуапсе и Головинского на реке Шахе. Гарнизоны укреплений были очень немногочисленны: малярия и цинга, тиф и простуда сотнями выкашивали людей. Более ста лет назад доктор медицины Н. Торопов писал: «О том, какая страшная была смертность в наших укреплениях бывшей Черноморской береговой линии, можно судить уже по тому, что там считали делом весьма обыкновенным, когда в год вымирало более десятой части всего гарнизона. Но были и такие укрепления, где в течение трех-четырех лет состав гарнизона *переменялся*, т. е. вымирал...»

«Большая часть укреплений на Восточном берегу (Черного моря. — *В. Я.*) находятся в беспристанной блокаде от горцев и не имеет другого сообщения как морем», — доносил начальству генерал Раевский.

Весной 1839 года Раевский стал собирать экспедицию для высадки десанта в долине реки Субаши. Одоевский с охотой согласился принять в ней участие и для того прервал лечение в Пятигорске. Путь его пролегал через Ставрополь, Прочный окоп, Екатеринодар, Ивановскую, Темрюк... А там были друзья, бывшие сибирские изгнанники. Александр стремился к ним всем сердцем.

Николай Лорер ожидал товарищей в Тамани...

Наконец в одно раннее утро он услышал на берегу знакомые возбужденные голоса своих товарищей. Выскочив из крошечной землянки, где он жил, Лорер бросился им навстречу. Вместе с отрядом, посланным на правый фланг для экспедиции, в Тамань пришли Одоевский и Нарышкин, Назимов, Лихарев и Игельстром...

Отдохнув немного, друзья всем обществом пошли искать себе удобные квартиры и покупать необходимую утварь.

Через два дня у Тамани встал на якоре пароход, при-

бывший из Керчи. Сопровождаемый своим штабом генерал Раевский подошел на шлюпках к берегу. Дом командующему был приготовлен.

Раевского провожала жена, урожденная Бороздина, красивая темноволосая женщина.

Одоевский был прикомандирован к 4-му батальону Тенгинского полка.

Нарышкин поселился вместе с Загорецким. Одоевскому генерал разрешил жить в «дворянской» палатке.

— Николай Иванович! — предложил Александр Лореру. — Не перейдете ли ко мне? Что вам ютиться в старом жилище?..

Вдвоем стало веселей.

Иногда от Раевского приходил вестовой. Генерал, сам диктовавший разносившимся по всему лагерю голосом боевые реляции, присылал их к Одоевскому для просмотрения и поправок. Блистательное знание Александром отечественного языка было известно многим.

Обзаведясь отличным поваром, Одоевский решил дать друзьям и однополчанам обед. Повод был найден без затруднений: день рождения капитана Масловича. Александр наготовил жженки, купил шампанского и разных припасов. Лорер составил пригласительный список на двадцать с лишним человек. В назначенный день соединили три палатки, заняли у приглашенных же разнокалиберные приборы, и пир пошел горой.

В воздух взлетела пробка от шампанского.

И тотчас же грянули пушки. Горцы стали обстреливать лагерь.

— В вашу честь, капитан, гремят заздравные тосты! — смеясь, воскликнул Одоевский. — Пьем до дна!..

Маслович смущенно поднял свой бокал.

Именинника чествовали с небывалым энтузиазмом.

— За ваших гусаков, Иван Иванович!

Давняя страсть Масловича к домашней птице забавляла офицеров.

Обед закончился на славу.

— Лев Сергеевич, слово за вами! — обратились все к коренастому рыжеволосому капитану.

Пушкин улыбнулся и встал. Стихов своего знаменитого брата он знал бесчисленное множество.

— Что ж вам прочесть, господа? — негромко спросил он.

— Подлиннее и со страстями, Левушка!..

— Тогда, пожалуй, «Цыган»! — решил Пушкин и закрыл глаза.

Читал он долго, и декламация его была великолепной. По окончании ее наступила тишина, затем раздались дружные хлопки.

— Браво, Лев Сергеевич! Браво!..

Ночь наступила душная.

Но не спал Одоевский сегодня не от духоты... Веселье погасло, и пришла вялость, сменившаяся затем тоской. Он не знал, отчего вдруг накатила на сердце тугая горячая волна, отчего захотелось плакать?.. Что делать, коли душа его так переменчива.

Перешагнув через заснувшего дядьку Курицына, он вышел из палатки.

В лагере горели костры, сонно перекликались часовые. Их голоса едва слышны были в грохоте прибоя. Море яростно било о берег. Словно предупреждало о чем-то. О чем?..

На низком темном небе он увидел две звезды.

Одна еще светила, другая едва тлела, доживала последние дни...

Проснется ль темный свод небес,
Заговорит ли дальний лес,
Иль золотой зашепчет колос —
В луне, в туманной выси гор,
Везде мне видится твой взор,
Везде мне слышится твой голос.
Когда ж об отчий твой порог...

Звезда замигала, тьма на нее надвинулась, и ослабела душа, и упало сердце в студеный колодец.

«Между владимирскими новостями тебя всего более тронет весть о кончине кн. Одоевского, особенно когда ты узнаешь, что он лет семьдесят тому родился и, след[овательно], получит понятие о том, [зачем он] существовал. Memento mori [1].

(А. И. Герцен — Астраковым,
18 апреля, 1839 г.)

Умирал старый князь медленно и неохотно.

Послали за священником.

---

[1] Помни о смерти *(латин.)*.

— Вынесите меня в сад, — попросил Иван Сергеевич. — И дайте портрет сына.

Стояла весна... В саду пели птицы, пахло клейкими почками и оттаивавшей землей. Высоко светило солнце.

А он знал, что нынче, шестого апреля, умрет. И все помыслы его были о единственном сыне, об Александре, тянувшем солдатскую лямку на далеком Кавказе. Не свидеться с ним больше на этом свете! Эх, зачем не бросил он все, не поехал к Саше на Кавказ?! Что сделал бы ему, заслуженному воину, государь? Вернул бы?.. Нет, право, мало любви у него осталось к российскому самодержцу. Слишком жесток и злопамятен!..

— Вот портрет, Иван Сергеевич!

Родные, глядя на его исхудавшее лицо, тайком плакали. При нем боялись... Князь взял в руки портрет.

— Этот Волкова! — недовольно прошептал он. — Мне нужен другой, что подарил ему друг, Назимов!..

Другой портрет отыскали быстро.

Старый князь прижал его к груди обеими руками и взглянул на небо.

Оно сияло радостно и спокойно.

«И там буду смотреть на тебя, Саша!» — мелькнуло в голове Ивана Сергеевича. Он хотел предупредить детей, чтоб и в гробу не отнимали от него портрета, но язык уже не слушался его.

Глаза князя вспухли слезами, одна скатилась и мелко задрожала на впалой щеке.

— Почили его сиятельство! — подойдя к Одоевскому, сказал священник.

Князь Иван Сергеевич Одоевский умер семидесяти лет.

Последний свет бросила на землю его звезда...

Александр об этом еще не ведал. Он жил тогда под южным небом, готовясь к экспедиции, тоскуя по родным полям и лишь во сне и в мыслях встречаясь с теми, кто был ему близок в этом мире.

Как носятся тучи за ветром осенним,
Я мыслью ношусь за тобою...

Стихов он писал мало, нередко вспоминал своего задушевного друга Мишеля. Под каким он сейчас небом? Какие ветры ему дуют в лицо?

8

29 апреля 1839 года эскадра под командой адмирала М. П. Лазарева взяла курс на долину Субаши. Море было тихим, берега по боку кораблей проходили живописные и, казалось, спокойные. Слабо голубела за кормой вода...

Александр предстоящей схватки не страшился. Опасности его не пугали. Он думал о том, что половина жизни позади — и что же? От литературы и друзей оторван, мир движется вперед мимо него... Он в нем — сторонний наблюдатель. Кавказ, бои, солдатская лямка... Просвета нет.

— Что-нибудь случилось, Саша? — к нему подошел Загорецкий. — Не заболел ли?

— Задумался, Николай! Не зря ли прожита жизнь наша? Искали свободы, счастья, равенства... А в результате? Поражение?.. Крушение всех идеалов и каторга?

Загорецкий опустил голову.

— Не надо об этом, Александр! Подобные мысли приходили и ко мне, но я отгонял их. Не ко времени они пока. Поживем — увидим!.. А сейчас идем спать! Назавтра нелегкое дело...

Ранним майским утром с флагманского корабля «Силистрия» ударил выстрел. Он возвестил о приготовлении десанта. По приказу капитана П. С. Нахимова на воду были спущены лодки.

— По местам!..

Одоевский шел к берегу вместе со всеми. Над головой его летели ядра, прибрежный лес с треском валился, как скошенная трава.

На твердую землю Александр выпрыгнул одним из первых. Слева с пистолетом в одной руке и с трубкой в другой выбирался по мелкой воде генерал Раевский. Справа с ружьем бежал Николай Лорер.

Впереди шли стрелки...

— Алла́-а!..

Из леса высыпала группа конных убыхов. Страшно гикая и размахивая блестевшими на солнце шашками, они бросились на десант. Толпу увлекали два предводителя, скакавшие на белых лошадях.

Первая цепь стрелков замешкалась.

— Братцы! — закричал генерал Кошутин, командовавший колонной. — За мной!..

Перекрестившись, он повел свой батальон навстречу неприятелю в штыки.

— Огонь! — неторопливо скомандовал Раевский.

Три легких конных орудия, стоявшие возле командующего и прикрывавшие колонну, ударили по горцам картечью.

Пыл их умерился, однако не до конца.

Свита Раевского, увидев близко врага, заколебалась. Командующий спокойно раскуривал трубку. Обнажив штыки, в атаку пошли навагинцы.

Одоевский мельком увидел Нарышкина, почерневшего от пороха и гари, бегущего рядом с моряками.

«Осторожнее, Миша!» — мысленно пожелал он товарищу и еле увернулся от горской шашки. Пришлось вскинуть ружье.

Убыхи бежали. К Раевскому подвели коня.

— С победой, друзья! — поздравил он войска.

На правом фланге стрельба еще не прекращалась.

Одоевский пошел по направлению выстрелов.

Лорер стоял с Загорецким возле ветвистого дерева. Нарышкин, держа ружье наперевес, стрелял.

— Ты все палишь, Михаил?

Нарышкин провел ладонью по лбу.

— Слава богу, все мы, кажется, живы!

— Пойдем в лагерь! — сказал Лорер.

Закинув за спину ружья, они направились к берегу.

— Ваше благородие!

Нарышкина догнал его повар.

— Что случилось?

— Самовар готов. Я расстелил у моря скатерть.

— Спасибо.

Через некоторое время возле них стали собираться участвовавшие в деле офицеры. Они пили крепкий душистый чай и рассказывали друг другу интересные боевые эпизоды.

— У тебя порван мундир! — сказал Одоевскому Лорер.

— Еле увернулся от сабли, — нехотя ответил Александр, глядя на бьющиеся о берег волны.

Одержанная победа не радовала его. На земле вповалку лежали раненые солдаты. Наблюдать за их мучениями, слышать их стоны было тяжело.

— Что, братцы, приуныли? — К отдыхавшим офицерам подошел адъютант Раевского, капитан Пушкин. —

Прошу почиститься, господа, и принять бодрый вид. О нашем достославном десанте пишут картину!

Стоявший со Львом Пушкиным молодой смуглый юноша покраснел и, пряча за спину испачканные в краске руки, представился:

— Иван Константинович Гайвазовский!

— Прошу любить и жаловать! — сказал Пушкин.

И вот случилось худшее, что он мог ожидать. К Одоевскому пришла весть о смерти отца. В это время его навестил один из образованнейших офицеров Кавказского корпуса, Григорий Иванович Филипсон: «...Я нашел его в горе: он только что получил известие о смерти своего отца, которого горячо любил. Он говорил, что порвалась последняя связь его с жизнью; а когда узнал о готовящейся серьезной экспедиции, обрадовался и сказал решительно, что живой оттуда не воротится, что это перст Божий, указывающий ему развязку с постылой жизнью. Он был в таком положении, что утешать его или спорить с ним было бы безрассудно...»

А сделать что-то нужно было! Слишком Филипсон уважал Одоевского, как боевого товарища, как поэта, как человека, пострадавшего за светлые идеалы, коим сам в молодости сочувствовал. Григорий Иванович решился сделать то, что было в его силах.

Он тотчас изменил диспозицию: 4-й батальон Тенгинского полка оставил в лагере, а в словесном приказании поставил частным начальникам в обязанность под строгою ответственностью не допускать прикомандирования офицеров и нижних чинов из одной части в другую для участия в предстоящем движении...

Но и Александр не сидел сложа руки.

Вечером Одоевский упросил своего полкового командира перевести его задним числом в 3-й батальон, назначенный в дело...

Тогда Филипсон пошел к генералу Раевскому «и просил его призвать к себе князя Одоевского и лично строго запретить ему на другой день участвовать в действии...».

— Почему? — спросил командующий.

Филипсон объяснил.

— Хорошо! — сказал генерал. — Вызовите его ко мне!

«Призванный им Одоевский вошел в кибитку Раевского и, оставаясь у входа, сказал на его холодное приветствие солдатскую формулу: «Здравия желаю вашему превосходительству!» Раевский сказал ему: «Вы желаете участвовать в завтрашнем движении: я вам это дозволяю». Одоевский вышел, и я не верил ушам своим и не мог понять, насмешка ли это надо мною или следствие их прежних отношений? Наконец, такого тона не принимал ни один генерал с декабристами. Оказалось, что все это произошло от рассеянности Раевского, которому показалось, что я именно прошу его позволения Одоевскому участвовать в движении. Так, по крайней мере, он меня уверял. Я побежал к князю Одоевскому и объяснил ему ошибку. Вероятно, я говорил не хладнокровно. Это его тронуло; мы обнялись, и он дал слово мне беречь свою жизнь...»

Одоевский обещал это товарищу, но тоска не покидала его.

Не стало слышно его звонкого смеха; он грустил не на шутку и по целым дням не выходил из палатки.

Экспедиция между тем закончилась.

Часть отряда покидала лагерь... Нарышкин и Лорер уезжали в Керчь, а затем в Тамань.

— Саша, поехали с нами! — умолял Одоевского Лорер.

— Нет, Николай Иванович! Я остаюсь здесь искупительной жертвой, — отвечал Александр.

— Прошу тебя!..

Он упорствовал.

Пред ним стояло лицо умершего отца... Ушел из жизни человек, любивший его и горячо любимый им.

Лорер был в отчаянье.

«...Чтобы отдалить хоть несколько минут расставания, Одоевский сел с нами в лодку и пожелал довезти нас до парохода. Там он сделался веселее, шутил и смеялся...»

Смех был сквозь слезы.

Лорер видел это.

— Еще не поздно, Саша, перевезти твои вещи! — уговаривал он. — Едем с нами!

— Нет, милый друг, я остаюсь!

Решение его было окончательным.

Лорер поднялся на палубу последним и тут же оглянулся...

«Лодка с Одоевским отвалила от парохода, я долго следил за его белой фуражкой, мы махали платками, и пароход наш, пыхтя и шумя колесами, скоро повернул за мыс, и мы наглядно расстались с нашим добрым, милым товарищем. Думал ли я, что это было последнее с ним свидание в здешнем мире?..»

Через несколько дней из лагеря уезжал поручик Тенгинского полка Попандопуло.

— Ты будешь в Прочном окопе, Эммануил, — сказал ему Одоевский. — Передай письмо рядовому Назимову.

Грек свое слово сдержал. Последнее письмо Александра дошло до его друга. Письмо горькое, полное тоски и душевного потрясения...

«Лагерь при Субаши, 21 июня 1839 г.

Мой милый друг, Михаил Александрович! Я потерял моего отца: ты его знал. Я не знаю, как я был в состоянии перенести этот удар, — кажется, последний: другой какой бы ни был — слишком будет слаб по сравнению.

Все кончено для меня. Впрочем, я очень, очень спокоен. Мой добрый, нежный отец попросил перед кончиной моего портрета. Ему подали сделанный Волковым. «Нет, не тот», — сказал он слабым голосом. Тот портрет, который ты подарил ему, он попросил положить ему на грудь, прижал обеими руками — и умер. Портрет сошел с ним в могилу. Прощай, мой друг; обнимаю тебя от души и желаю тебе более счастья, гораздо более, нежели сколько меня ожидает в этом мире. Ты впрочем (я уверен) будешь счастливее меня.

Нарышкин и Лорер лечатся в Тамани. Н. А. Загорецкий и Лихарев тебе кланяются. Мы все еще в Субаши. Еммануил Еммануилович Попандопуло все расскажет тебе: а мне не до него. Я спокоен, — говорить — говорю, как и другие, но когда я один перед собою или пишу друзьям, способным разделить мою горечь, то чувствую, что не принадлежу к этому миру. Поздравляю тебя с галунами. Мой сердечный поклон тезке моему, Александру Ивановичу. Обнимаю тебя от всего сердца, и желаю тебе счастья и всех успехов возможных, равных как и Александру Ивановичу. Прощай еще раз.

Твой *Александр*».

Михаил Александрович мог его понять. Он знал отца.

Прошел июнь. Одоевский терпеливо сносил все тяготы солдатской службы. Но старый камердинер его Ку-

рицын все тревожнее поглядывал на барина. Потух его интерес к жизни, закрылась для других душа...

В скором времени часть отряда перебралась в устье реки Псезуапсе, где началось строительство форта Лазаревского. Переехал сюда и Одоевский с друзьями.

Стояла страшная жара, от которой не спасали ни морская вода, ни пожелтевший до времени лес. Солдаты рубили деревья, рыли под сваи обожженную землю.

Загорецкий высох и потемнел лицом. У Игельстрома ввалились глаза. Одоевский на свою участь не жаловался. Жара не спадала...

Небольшое отступление для справки из «Военного сборника»: «При возведении форта Лазаревск, 24 марта 1839 г. в гарнизоне его была составлена 4-я мушкетерская рота Тенгинского полка в количестве 200 солдат и соответствующим числом унтер-офицеров.

К 1 января 1840 г. в ней оставалось налицо 108 солдат и 15 унтер-офицеров; остальные умерли...»

Одоевский с мужеством переносил все тяготы службы. В сознании его не потухал образ умершего отца. Он неудержимо манил к себе Александра...

Я разлучился в колыбели
С отцом и матерью моей,
И люди грустно песнь запели
О бесприютности моей...

Даже письма любимой тетки, заменившей ему мать, уже не радовали его.

Он чувствовал, что остался один. Одиночество претило его натуре. Писал он мало, хотя вдохновение посещало его нередко. Но стихи, родившись в его душе, там же и умирали.

О своей поэтической славе он не заботился.

Если б не друзья, то вряд ли что из произведений Одоевского дошло бы до нас, не считая тех, что были напечатаны Дельвигом.

Силу поэтическую в себе он ощущал. Но она сгорала втуне... А ведь именно поэзия могла поддержать его в трудные дни!

Как я давно поэзию оставил!
Я так ее любил! Я черпал в ней
Все радости, усладу скорбных дней,
Когда в снегах пустынных мир я славил,
Его красу и стройность вечных дел...

Она, как любимая женщина, ласково улыбаясь, шла к нему!..

Но он не протянул ей руки.

Ибо не хотел жить... Хотя порой она разогревала его охладевшую кровь, кружила голову, и наступала та минута, единственная и неповторимая, когда...

...от мук
Сожмется грудь, и сердцу не до прозы...
Мучительный, небесный миг! Поэт
В свой тесный стих вдыхает жизнь и вечность,
Как сам господь вдохнул в свой божий свет —
В конечный мир — всю духа бесконечность.

Тогда он думал о страшном конце Кондратия Рылеева. Тогда он вспоминал Грибоедова, Пушкина и Бестужева... Тогда он мысленно благословлял Мишеля Лермонтова и предрекал свою смерть.

9

«...Пятого августа Одоевский был у всенощной в полковой церкви. Товарищ его Загорецкий встревожился, увидев лицо его необыкновенно раскрасневшимся, и считал это дурным признаком. На другой день, шестого августа, Одоевский слег. В недостроенной казарме приготовили для него помещение в одной комнате: до этого пролежал он три дня в походной палатке, но не переставал быть веселым и разговорчивым и нисколько не сознавал опасности своего положения, читал импровизированные стихи на счет молодого неопытного лекаря...»

Барон Розен не ошибся: Одоевский заболел действительно и серьезно.

Фельдшер Сольетет много суетился, размахивая длинными, нескладными руками и приготовляя для больного холодные компрессы.

Александр, глядя на него, улыбался.

Он улыбался, хотя ему хотелось плакать. Он прекрасно сознавал свое положение. Но он шутил с неопытным лекарем, пытавшимся как-то помочь ему.

Сказал поэт: «Во цвете лет
Адъюнктом станет Сольетет,
Тогда к нему я обращусь...»

Лекарь смущался, виновато моргая глазами.

Загорецкий постоянно навещал товарища.

— Не принести ли горячего чая?
— Шампанского бы, Николай! — смеялся Одоевский.
— Вот этого нельзя, милый мой!..

По ночам особенно сильно шумело и билось о берег море.

Ветер бешено метался по недостроенной крыше, свистел в густых колючих кустах за окном, скрипел отсыревшими досками...

Александр оглядывался на свою жизнь, со взлетами и падениями, короткую жизнь, в мгновенном гуле которой уже звучала последняя нота.

Скоро он перестал спать.

Началась горячка... Уставшее тело бил озноб. Но Александр шутил, импровизировал новые, читал старые стихи...

Звучит вся жизнь, как звонкий смех,
От жара чувств душа не вянет...
Люблю я всех, и пью за всех!
Вина, ей-богу, не достанет!

— Коля, принеси вина.
— Нельзя, Александр!
— Мне теперь все можно!..

Вечер сменялся утром, дни сгорали с веселым треском — как бикфордов шнур. В один из таких дней больного снова навестил Филипсон.

«Через месяц, когда мы были уже в Псезуапсе, я должен был ехать с Раевским на пароходе по линии и зашел к Одоевскому проститься. Я нашел его в лихорадочном жару. В отряде было множество больных лихорадкою; жары стояли тропические. Одоевский приписывал свою болезнь тому, что накануне он начитался Шиллера в подлиннике на сквозном ветру через поднятые полы палатки...»

Но не Шиллер стал причиной болезни.

Он устал жить, не захотел бороться со смертью.

Жаль было не себя, иного — хотелось тотчас же узреть посеянное тобой. Если оно действительно было посеяно!..

А ведь так хотелось! Сколько душевных взлетов и нравственных унижений ради этого перенесено! Сколько жизней — и каких! — отдано! Неужли зря? Друзья на каторге... Кондратий повешен в Петербурге!.. Брат Саша зарублен в Тегеране!.. Пушкин убит в столице!.. Бестужева приняла кавказская земля...

И его погребут на берегу Черного моря!

А Миша Лермонтов? Вряд ли большая жизнь отпущена ему судьбой. Как и Вильгельму! Как и другим рыцарям свободы, не принявшим деспотизма! Не той дорогою пошли? Или...

Он был в жару, и мысли приходили жаркие, но отчетливые. Прислуживавший Одоевскому камердинер по ночам плакал и клял себя за то, что не сумел уговорить барина уехать в Керчь.

— Боже, сохрани его! Возьми взамен мою душу, коли найдешь ее достойной вознесения!..

Сольетет лишь протирал покрасневшие от горя и недосыпаний глаза. Ему казалось, что скоро упадет он сам: ноги деревенели, голова кружилась — в лагере вповалку лежали десятки и десятки больных...

Загорецкий беспомощно кусал губы. Саша, друг, товарищ его по единомыслию и судьбе, не раз бескорыстной помощью уводивший его в Сибири от самых черных мыслей, умирал...

Александр слабел на глазах и стал забываться.

«15 августа, в 3 часа пополудни, прислуга отлучилась. Загорецкий остался один с больным, которому понадобилось присесть на кровать...»

Что мог увидеть Александр в широком окне недостроенной казармы?

Чело высокого прозрачного неба?..

Светлое облачко, бегущее к родным полям?..

Иль отдаленный лик с приветными глазами матери и старческим лицом отца?..

Хотел бы, как небо вглубь синего моря,
Смотреть и смотреть тебе в очи,
Приветливой речи, как песни родимой,
В изгнаньи хотел бы послушать!

Но света в пространстве падучей звездою
Мелькнешь, ненаглядная, мимо...

Лик был безгласен, он ушел, растаял в синеве.

И сил не стало...

«Загорецкий помог ему, придерживая его: вдруг он, как сноп, свалился на подушку, так что, при всей своей силе, Загорецкий не смог удержать его; призвали лекаря и фельдшера; они решили, что больной скончался...»

Смертью Одоевского друзья были потрясены.

Когда он лежал в недостроенном форту, солдаты приходили справляться о его здоровье. Хоронить же его пришли, несмотря на жару, в полной форме.

Друзьям не верилось в его смерть!

Он был жизнелюбив, но расстался с жизнью без сожаления. Потому что не видел в ней просвета, все главное — счастье и горе — осталось позади.

Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Не тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не Севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?..

До могилы его несли офицеры. За новопостроенным фортом, у самого обрыва к Черному морю, одинокая могила с большим крестом оставила воспоминание об Одоевском.

Г. И. Филипсон, вернувшись из своей поездки, уже не застал Одоевского в живых. Он «нашел только могилу его с большим деревянным крестом, выкрашенным масляною краскою...». Вскоре укрепление было занято горцами. И лишь в 1840 году по занятии Псезуапсе русскими войсками этому храброму кавказскому офицеру удалось снова «навестить дорогую могилу. Она была разрыта горцами, и красный крест опрокинут в могилу...».

Касательно могилы Одоевского сохранилось несколько преданий.

Одно из них «гласит, что между этими дикими горцами был начальником офицер, бывший прежде в русской службе, и знавший лично Одоевского; он удержал неистовых врагов, которые почтили могилу Одоевского, когда услышали, чей прах в ней покоится».

Так ли было в действительности — трудно сказать!

Все же остановимся на этой версии. Право, он стоил бережного к себе отношения... хотя бы после смерти! Однако точку и на этом ставить рано.

Жизнь шла своим чередом, еще жили друзья Одоевского в Сибири, на Кавказе, в уездных городах и селах, жили родные и просто знакомые... В их радостях и печалях не тускнел и образ Александра.

«Если б собраны были и явлены свету его многие тысячи стихов, — писал в своих воспоминаниях Александр Беляев, — то литература наша, конечно, отвела

бы ему место рядом с Пушкиным, Лермонтовым и другими первоклассными поэтами...»

Декабрист, быть может, преувеличил значение творчества своего друга. Но понять его можно, ибо, говоря словами Одоевского, «нельзя быть беспристрастным — особливо, когда имеешь сердце»...

10

Потрясенные кончиной Александра Одоевского, друзья обмениваются письмами, в которых его трагической судьбе отводится значительное место.

Михаил Нарышкин сообщает о смерти друга своей сестре, княгине Евдокии Голицыной. Она тут же отвечает брату:

«Твое последнее письмо заставило меня оплакивать с тобой смерть Одоевского — сразу же тысяча самых тягостных движений возникла в моей душе... Я поняла также, каким несчастьем было для тебя узнать эту жестокую новость в твоем уединении и после всего того, что пришлось испытать твоему сердцу ранее...»

Жена декабриста, Елизавета Петровна, урожденная графиня Коновницына, пишет своей подруге по сибирской ссылке Наталье Фонвизиной. Муж последней сообщает о смерти товарища Ивану Пущину:

«...Наталья получила недавно письмо от Елизаветы Петровны Нарышкиной из Прочного Окопа, куда она недавно возвратилась, прожив несколько времени с своей матерью и родными. Е[лизавета] П[етровна] говорит о смерти Одоевского. В отряде, в котором находился Нарышкин, Лорер и Загорецкий в экспедиции по Черному морю, свирепствовали нервические горячки.

М[ихаил] М[ихайлович] и Загорецкий были очень больны, но, к счастью, их вовремя перевезли в Тамань, и они были спасены—Одоевский же не перенес болезни и умер почти в одно время с стариком отцом своим...»

Пущин делится трагической вестью с Евгением Оболенским.

Где и когда узнал о смерти своего задушевного друга Михаил Лермонтов — неизвестно. Несомненно одно: весть эта была для него очень горькой. Иначе не родились бы его пронзительные по своему откровению строки о поэте, не дожившем и до тридцати семи лет:

В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений...
Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья... но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил — и бог не спас!..

Сам он не доживет и до двадцати семи: пуля мартыновского пистолета убьет его быстрее, нежели кавказская лихорадка. И близкий знакомый Лермонтова Юрий Самарин оставит в своем дневнике такую запись: «...Нет духа писать. Невольно сжимается сердце и при новой утрате болезненно отзываются старые. Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов. Становится страшно за Россию при мысли, что не слепой случай, а какой-то приговор судьбы, поражает ее в лучших из ее сыновей: в ее поэтах...»

«И свет не пощадил — и бог не спас!..»

В августе 1846 года на Тобольском Завальном кладбище, возле церкви Семи Отроков, похоронят одного из близких друзей Одоевского, декабриста и поэта Вильгельма Кюхельбекера, измученного сибирской каторгой. Через год после смерти «энтузиаста» Александра он в горькую минуту сомнений занесет в свой «Дневник поселенца»:

«Перебрал я ящик с бумагами, сколько тут разных впечатлений, сколько испытанного, перечувствованного, забытого или такого, о чем и вспомнить тяжело! Тяжело вспомнить не одни заблуждения, но и те ощущения невозвратные, которые волновали мою душу когда-то при первых наитиях набожности, любви к ближним, тоски по родных, по тех, из которых судьба меня потом кое с кем опять привела в болезненное столкновение! Все это прошло и уже не воскреснет! — и что же осталось в душе моей? Ужели одно беспредельное желание покоя? Nolli me tangere![1] Более ничего не хочу, все прочее — восторги поэзии и веры, любовь, дружба, самая грусть — все мне приелось. Боже мой! Или это состояние долго продолжится?..»

---

[1] Не тронь меня! *(итал.)*.

Вильгельм переборет себя — поэзию не оставит и перед смертью напишет Жуковскому письмо:

«...Говорю с поэтом, и сверх того полуумирающий приобретает право говорить без лишних церемоний: *я чувствую, знаю, я убежден совершенно, точно также, как убежден в своем существовании,* что Россия не десятками может противопоставить Европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне, добрейший мой наставник и первый руководитель на поприще Поэзии, эту мою гордую выходку! Но, право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все, все мною созданное, вместе со мною погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок!..»

Созданное Кюхельбекером, к счастью, не погибло, нашло своего благодарного читателя. Однажды в «лицея день священный» он вспомнит своих друзей-поэтов, ушедших ранее его и заторопится...

Пора и мне...

И заспешил к ним тоже до времени, полуслепой, обремененный долгами и одинокий посреди своей случайной семьи.

Через день после известия о смерти Лермонтова подруга его последних петербургских месяцев графиня Е. Ростопчина, размышляя о горькой участи ушедших русских поэтов, предостережет будущих:

Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой!..

Додо Ростопчина знала Одоевского.

Еще в мае 1839 года она писала из Пятигорска В. Ф. Одоевскому о брате его Александре, этом «идеале ума и души»:

«...Говорят, что он много написал в последние года, и что дарованье его обещает *заменить* Пушкина, и говорят это люди умные и дельные, могущие судить о поэзии...»

Не Лермонтов ли рассказывал ей о своем друге.

В пятнадцать лет она написала посвященное декабристам «Послание к страдальцам»:

Соотчичи мои, заступники свободы, —
О вы, изгнанники за правду и закон,
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,
Вы не услышите укор земных племен!
Удел ваш не — *позор*, но — *слава, уваженье*...

С тех пор прошло более четверти века. В последнее время мысль ее упорно сводила в единое три имени: Грибоедов, Одоевский, Лермонтов...

«Странные сближения» поэтессы очень знаменательны. Лермонтов и Одоевский... Так ли уж мало сходства между ними в целом ряде поэтических мотивов и тем? Великий поэт любил декабриста, знал душу его и сердце, как никто, глубоко.

«Лермонтов писал Одоевского с натуры», — подтверждал после своего знакомства со ссыльным Николай Огарев.

«Лермонтов так дружески сблизился с ним (Одоевским. — *В. Я.)* на Кавказе, невольно увлеченный общею силою поэзии, увлекавшего их *по одному направлению* (курсив наш. — *В. Я.)*, — писал историку М. И. Семевскому Михаил Бестужев. — Эти чувства дружбы и привязанности Вы, вероятно, прочли в его превосходных стихах, внушенных ему над изголовьем умирающего Одоевского».

Стихи двух поэтов нередко перекликаются. Лирический герой их противопоставлен светской толпе. Это чувствовали не только литературные критики...

В 1844 году редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский получил из Омска от Аполлона Сотникова список одного из неопубликованных стихотворений Одоевского. «...это глубоко прочувствованное им (Одоевским. — *В. Я.)* создание, — писал омич, — и в нем он... похож на портрет его, сделанный Лермонтовым в его «Памяти Од-го». Отметив, что стихотворение Лермонтова, как и «Сен-Бернар» Одоевского впервые были напечатаны в журнале Краевского, Сотников просил отнестись к новому произведению декабриста столь же благожелательно. Стихотворение Одоевского посвящалось ссыльному польскому революционеру Адольфу Янушкевичу.

Краевский напечатал присланную из Омска пиесу, которая, по словам Сотникова, «кроме своего внутреннего достоинства», могла быть еще «важна как памятник замечательной личности и как произведение одного из главнейших с Лермонтовым представителей *юной* России, умершей в их лицах, но сохранившейся и процветающей еще между глубокими их почитателями».

Письмо простого жителя Омска симптоматично. Так

же, как и упоминание имени декабриста в тесной связи с Михаилом Лермонтовым.

А ведь при жизни Одоевского в печать проникло, и то анонимно, лишь десять его стихотворений. Полная подпись поэта появилась в «Русской беседе» лишь в 1857 году. Через восемнадцать лет после его смерти, когда в российской словесности родились новые поэтические имена.

Когда-то, в Читинском остроге, Одоевский написал в своей элегии:

Но вечен род!
Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья;
Младенцы снова расцветут,
Вновь закипит младое племя...

Пророчество поэта и декабриста свершилось.

Жизнь продолжалась...



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. И. ОДОЕВСКОГО

1802, 26 ноября — рождение Александра Ивановича Одоевского в Петербурге.

1815, 11 февраля — записан канцеляристом в Кабинет его величества.

1820 — до этого года написана антикрепостническая «Молитва русского крестьянина».

1820, 9 октября — смерть матери.

1821, 1 октября — Одоевский зачислен в лейб-гвардии конный полк «из отставных губернских секретарей, на праве вольноопределяющихся унтер-офицером».

1821, 4 ноября — «признан в дворянском достоинстве вследствие повеления Его Высочества Цесаревича юнкером».

1821, октябрь — 1822, май — Одоевский участвует в маневрах полка, так называемом «Велижском походе».

1823, 23 февраля — произведен в корнеты.

1824, лето — начало настоящей дружбы с близким родственником, в июне приехавшим в Петербург, А. С. Грибоедовым, а также с А. А. Жандром и В. С. Миклашевич.

1824, 7 ноября — знаменитое петербургское наводнение, во время которого Одоевский, рискуя жизнью, «плыл и тонул», чтобы добраться до Грибоедова и спасти его.

1824 — начало 1825 — знакомство с А. А. Бестужевым, который принял его в члены Северного общества. Дружба с К. Ф. Рылеевым.

1825, весна — в «Сыне Отечества» появилась критическая статья А. Одоевского — «О трагедии «Венцеслав», соч. Ротру, переделанной Жандром». Переписывание комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» «в несколько рук... под диктовку» на квартире Одоевского.

1825, апрель — знакомство с В. К. Кюхельбекером.

1825, 2—3 июня — поездка по делам общества в Кронштадт вместе с К. Ф. Рылеевым, А. А. Бестужевым, М. К. Кюхельбекером и Д. И. Завалишиным.

1825, 14 декабря — участие в декабрьском восстании на Сенатской площади.

1825, 17 декабря — доставлен коменданту Петропавловской крепости.

1826, 12 июля — Одоевский отнесен судом к 4-му разряду, приговорен к 15 годам каторги, сокращенной Николаем I до 12 лет.

1827, 1 февраля — отправление Одоевского в Сибирь.

1827, 20 марта — 1830, сентябрь — пребывание в Читинском остроге, где Одоевский написал ряд стихотворений, в том числе: «Тризна» (1828), «Умирающий художник» (1828), «Ответ А. С. Пушкину» (1828—1829), «На смерть А. С. Грибоедова» (1829), «Что вы печальны, дети снов...» (1829), «М. Н. Волконской» (1829), «Зосима» (1829—1830?), «Неведомая страница» (1829—1830?), «Славянские девы» (1830?) и др. Закончена в основном поэма «Князь Василько».

1830—1831 — В «Литературной газете» и альманахе «Северные цветы» с помощью П. А. Вяземского и А. А. Дельвига было анонимно напечатано около десяти стихотворений Одоевского.

1830, сентябрь — 1832, декабрь — пребывание Одоевского в Петровском заводе. Стихи «При известии о польской революции» (1831), «По дороге столбовой» (1831), «К. А. Розену» (1831) и др.

1832, 30 декабря — Одоевский покинул Петровский завод и был поселен при Тельминской суконной фабрике.

1833, июнь — Одоевского выдворили в село Елань, в 36 верстах от Иркутска, где он прожил три года.

1836, 27 мая — приказ Николая I перевести Одоевского по ходатайству родных и И. Ф. Паскевича в г. Ишим Тобольской губернии.

1837, 20 июня — резолюция императора на прошении Одоевского: «рядовым в Кавказский корпус».

1837, конец августа — встреча Одоевского в Казани с отцом.

1837, начало октября — приезд Одоевского в Ставрополь, где он получает направление в Нижегородский драгунский полк.

1837, конец октября — знакомство и начало дружбы с М. Ю. Лермонтовым.

1838, лето — встречи в Пятигорске и Железноводске с Н. П. Огаревым и Н. В. Майером.

1839, 6 апреля — смерть отца.

1839, 21 июня — последнее дошедшее до нас письмо Одоевского (декабристу М. А. Назимову).

1839 15 августа — смерть А. И. Одоевского от тропической лихорадки.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Ленин В. И. Полное собрание сочинений, тт. 21, 30.

СОЧИНЕНИЯ А. И. ОДОЕВСКОГО:

Полное собрание стихотворений князя А. И. Одоевского. Собрал барон А. Е. Розен. Спб., 1883.

Сочинения князя А. И. Одоевского. С биографическим очерком и примечаниями М. Н. Мазаева. Спб., 1893.

Одоевский А. И. Полное собрание стихотворений и писем. М. — Л., 1934.

Одоевский А. И. Стихотворения. Л., 1954.

Одоевский А. И. Полное собрание стихотворений. М.—Л., 1958.

ЛИТЕРАТУРА ОБ ОДОЕВСКОМ:

Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. Спб., 1882.

Сиротинин А. И. Князь А. И. Одоевский. — «Исторический вестник», 1883, № 5.

Филипсон Г. И. Воспоминания. М., 1885.

Гангеблов А. С. Воспоминания декабриста. М., 1885.

Потто В. История 44-го Нижегородского драгунского полка, ч. IV. Спб., 1894.

Вейденбаум Е. Г. Кавказские этюды. Тифлис, 1901.

Дмитриев-Мамонов А. И. Декабристы в Западной Сибири. Спб., 1905.

Бороздин А. К. Из писем и показаний декабристов. Спб., 1906.

Завалишин Д. И. Записки декабриста. 1-е русское издание. Спб., 1906.

Розен А. Е. Записки декабриста. Спб., 1907.

Котляревский Н. А. Декабристы князь А. Одоевский и А. Бестужев. Их жизнь и литературная деятельность. Спб., 1907.

Басаргин Н. В. Записки. П., 1917.

Кубасов И. А. Декабрист А. И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения. П., 1922.

Сакулин П. Н. Одоевский в неизданных письмах. — В кн.: Декабристы на каторге и в ссылке. М., 1925.

Дело № 15 о корнете конной гвардии Одоевском (со статьей А. А. Покровского). — В кн.: Восстание декабристов. Материалы, т. II. М., 1926.

Кюхельбекер В. К. Дневник. Л., 1929.

Лорер Н. И. Записки декабриста. М., 1931.

Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг., тт. I—II. М. — Л., 1933.

Черный К. Г. Кавказские встречи (Одоевский и Огарев). — В кн.: «Стравропольский альманах», № 3. Ставрополь, 1948.

Базанов В. Г. Поэты-декабристы. М. — Л., 1950.

Фадеев А. Декабристы в Отдельном Кавказском корпусе. — «Вопросы истории». 1951, № 1.

Воспоминания Бестужевых. М. — Л., 1951.

Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951.

Декабристы и их время. М. — Л., 1951.

Похвиснев Г. Лермонтов и Одоевский. — В кн.: Земля родная, кн. 9. Пенза, 1952.

«Литературное наследство», тт. 59—60. М., 1954—1956.

Нечкина М. В. Движение декабристов, тт. 1—2. М., 1955.

Шадури В. С. Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958.

Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970.

Эйдельман Н. Я. Лунин. М., 1970.

Ватейшвили Д. Л. Русская общественная мысль и печать на Кавказе в первой трети XIX века. М., 1973.

Декабристы и русская культура. Л., 1975.

Дум высокое стремленье. Иркутск, 1975.

Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 г., 2-е изд. М., 1975.

Нечкина М. В. Декабристы. М., 1975.

Литературное наследие декабристов. Л., 1975.

Постнов Ю. С. Сибирь в поэзии декабристов. Новосибирск, 1976.

Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977.

Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. 3-е изд. М., 1977.

Зильберштейн И. С. Художник-декабрист Николай Бестужев. 2-е изд., доп. М., 1977.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ягунин В. П.

Я31 Александр Одоевский. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 254 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Серия биогр. Вып. 14 (607).

В пер.: 1 р. 20 к. 100 000 экз.

Александр Одоевский, поэт, участник выступления первых русских революционеров-дворян, вошедших в историю под именем декабристов. Строку из его стихотворения — ответа ссыльных Пушкину на его «Послание в Сибирь» взял В. И. Ленин как эпиграф первой большевистской газеты «Искра».

ББК 83.3Р1
8Р1

Я $\frac{70302-185}{078(02)-80}$ Без объявл. 4702010200

ИБ № 1924

Владимир Петрович Ягунин
АЛЕКСАНДР ОДОЕВСКИЙ

Редактор **Е. Любушкина**
Серийная обложка **Ю. Арндта**
Заставки и концовки **Э. Шагеева**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технические редакторы **Н. Носова, З. Ходос**
Корректоры **В. Авдеева, Г. Василёва**

Сдано в набор 25.03.80. *Подписано в печать* 08.07.80. А01643. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 13,44+ + 1,78 с вкл. Учетно-изд. л. 15,2. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 20 к. Заказ 2426.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.